

- [Шишков Вячеслав](#)

- 

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# Шишков Вячеслав

## Пейпус-озеро

Вяч. Шишков

ПЕЙПУС-ОЗЕРО

Глава I

Свершается реченное.

Николай Ребров последний раз оглянулся на Россию. Под ногами и всюду, куда жадно устремлялся его взор, лежали свежие первоноябрьские снега, воздух дышал морозом, но Пейпус-озеро еще не застыло, спокойные воды его были задумчиво-суровы, и седой туман разметал свои гривы над поверхностью. А там, на горизонте, легкой просинью едва намечались родные далекие леса.

Николай Ребров едва передохнул, остановившееся его сердце ударило с новой силой, он крикнул:

- Иду, Карп Иваныч! Сейчас... - и побежал к скрипевшему большому возу, на колеса которого наматывался липкий снег.

\* \* \*

У заставы пришлось беженцам провести трое суток в холоде, в снегу. Эстонскими властями разоружалась Северо-Западная армия генерала Юденича: отбиралось и переписывалось оружие, проверялись списки, выдавались наряды: кому куда. Безостановочно двигались обозы, уныло шагали солдаты в одиночку и кучками - остатки белых на-голову разбитых полчищ. Вся эта жестокая затея, стоившая России стольких жертв, продолжалась около трех месяцев, и новая европейская амуниция белых войск еще не успела истрепаться о красные штыки. Зато лица солдат унылы и потрепаны, в глазах усталость, озлобленность, головы опущены, и мало веселых слов. Так с поджатым хвостом возвращается в свою будку побитый пес. Среди свежей амуниции то здесь, то там култыхает серая рвань: это забеглые, покинувшие свою родину, красноармейцы. Надрывно скрипят по снегу немазаные колеса таратаек, истощенные быстрым отступлением обезноженные лошади тяжело поводят ребристыми боками, мобилизованные псковские мужики угрюмо шагают возле своих кляч и с ненавистью поглядывают на скачущих верхами офицеров.

- Вот и Эстония, - сказал Николай Ребров.

- Да, - безразлично ответил с возу Карп Иваныч, богатый торгаш-крестьянин из-под Белых-Струг. Он очень толст и неуклюж, рыжие усы вниз, бритое лицо заросло щетиной. Семь больших возов, запряженных собственными лошадьми, везут его добро. Он на последнем. А на первом возу - сельский батюшка, отец Илья с перепуганным сухощеким личиком. Он согнулся, засунул руки в рукава и дремлет под гул унылый речи, под скрип возов.

- Рарарара..... Футь!

- Не отставай, Мишка, не отставай!

- Я не отставаю... А где тятя-то?

- Фють! Но, шолудивая!

Старый сосновый лес. Сквозь шапки хвой голубеет небо. Был ликующий зимний день, но многотысячная бегущая толпа, вся, как в ночи, в проклятиях и вздохах, и поток солнечных лучей не мог пробить гущу унылых дум. По обе стороны лесной дороги шагали с узлами, с торбами согбенные люди. Мелькали красные, белые, черные платки на головах женщин и подростков. Мычали коровы, блеяли овцы, где-то протестующе визжала свинья.

- Нню! Чего поперек дороги-то остановился? Эй, ты!

- Двинь его кнутом!

- Тпру! Сворачивай, дьявол!

- Ксы! Дунька, гони, гони корову-то в лесок!.. Чего ты, кобыла, чешешься!

На пути эстонский хутор. Возле белого чистого домика стоит семья эстонцев. "Сам" в белой рубашке и ватной жилетке. Бритое лицо его зло, серые узкие глаза сверкают. Он кричит что-то поэстонски на разрозненно шагающих солдат и, выхватив трубку, бросает с презрением:

- Ага, белы черть!.. наших баронов защищать пришли? Куррат!

- Мороз померзнуть надо их, - подхватывает другой эстонец. - Нейд тарвис... Яра хавитада.

- Он не торопясь подходит тропинкой к своему соседу, злорадно хохочет, подмигивая на солдат:

- Повоевал, ладно, чорт, куррат... Тяйконг... А жрать в Эстис пришел...

- Эй руска! Ваши газеты печатались - Троцкий у вас в плену. А ну, покажи, где Троцкий?..

Ха-ха-ха-ха...

- Они Питер взяли!.. Вот наши бароны подмогу им дадут, на Москву полезут.

Обезоруженные солдаты отвертываются, глядят в сторону, вздыхают, пробуют громко между собою говорить. Вот один надрывно крикнул:

- Молчи, чухонская рожа! И так тошнехонько.

Солнце склонилось за лес. Стало темнеть.

Беглая, неприкаянная Русь огромным ужом утомленно вползла в Эстонию.

\* \* \*

В густом лесу, вблизи дороги глазасто горят сотни костров. Людской поток завяз в глубокой тьме и остановился. На много верст сплошной цыганский табор.

Карп Иваныч деловито готовит снедь.

- Помогай, чего ж ты, Сережка, развалился, как дома на диване, - говорит он своему сыну, румяному юноше с задумчивыми глазами. - Сергей, слышишь?

- Сейчас. - Сергей нехотя встает с раскинутой у костра, на снегу шубы и сонно смотрит на отца.

- Бери ведро. Намни снегу поплотней, чай кипятить из снегу станем. У них, у дьяволов, и воды-то не выпросишь. Подошел к колодцу - гонят. Тьфу!.. Давай, говорят, две марки. Да не успел еще я, дьяволы, марок-то ваших наменять, чтоб вам сдохнуть... Тьфу!.. И лошадей-то снегом кормить придется замест воды...

- Да, да, - сказал сухощекий, с рыжей бородкой хохолком отец Илья и кивнул в сторону пошагавшего с ведром Сергея - Трудно сынку вашему будет: в холе рос.

- Матка избаловала его. Известно дуры бабы. Он, бывало, из дому не выйдет, чтоб губы не намазать фиксатуаром, да брови не подвести. Франт. А дела боится, как огня. Белоручка. Несмотря, что в деревне рос.

- Трудно, трудно будет, - вздохнул батюшка. - А нет ли у вас лишней сковородочки? Яишенку с хлебцем хочу изобрести.

Где-то раздался выстрел. У соседнего костра неуклюжая женская фигура, замотанная шалью, доила корову. Это Надежда Осиповна Проскурякова, бывшая помещица, старуха. У нее молодой, кровь с молоком, муж, бывший крестьянский парень. Он сильной рукой держит корову за веревочный ошейник и насвистывает веселую.

- Митя! Прошу тебя... Ой, держи!.. Она опять меня боднет...

- Держу, держу... Доите вашу корову с наслаждением...

Голова старухи трясется, и молоко циркует аппетитно в деревянный жбан. Встревоженный вырос у костра Николай Ребров.

- Карп Иваныч! Как же быть?.. - проговорил он подавленно. - Озноб, голова болит у меня... Просился к эстонцам. В двух мызах был, не пускают. В баню просился ночевать - гонят. Даже

один выстрелил, в воздух, правда... Слыхали?

- Эх, плохо, Коля, - сказал Карп Иваныч, - ложись у костра. Ужо я сена подброшу. Эх, парень! И одежишка-то у тебя один грех... Сергей, Сережка! - закричал он в тьму. - Скоро?!

- Вы, что же, гимназист? - спросил священник, и, кокнув об сковородку яйцо, пустил его в шипящее масло.

- Реалист. Только что окончил...

- А папашенька ваш чьи же, какой, то-есть, профессии?

- Железнодорожник.

- Та-ак-с. А что же вас заставило бежать одних? - священник кокнул четвертое яйцо и потыкал ножиком яичницу.

Во тьме, на дороге беспрерывный гам, крик, тяжелый грохот.

- Эй! Тут какая часть?

- Никакая. Тут вольные.

- Не видали ль полковника Заречного?

- Артилерия, что ли? Езжайте дальше. Они в фольварк ушли.

- Тпру! Стой, сто-о-ой!!.

Грохот смолк. К костру подбежали два солдата.

- Братцы! Дайте-ка перекусить. Не жрамши.

- Артиллеристы? - спросил отец Илья.

- Восьмая батарея. Не знай куда сдавать. Никаких порядков не разберешь. Все начальство разбежалось. Сена нету... Лошади падают... Чухны ничего не дают. - Измученные солдаты жадно чавкали поданные Карпом Иванычем ломти хлеба.

- Никак вы из духовенных? - обратился бородатый солдат к батюшке?

- Есть грех... Священнослужитель из с. Антропова.

- Вот дьяволы какие, эти самые краснозадые, - злобно проговорил второй солдат. - Даже духовенные от них должны бежать.

- Им, анафемам, только в руки попадись... С живых шкуру спустят, сказал Карп Иваныч, хлебая щи.

- Ну, да и мы тоже ихнего брата, - сказал бородатый, вздохнув. - Много их на деревьях качается... Папаша дозволь щец хлебнуть. Пятые сутки горяченького не видал... Ах, сволочи, как они нам нашпарили.

- Увы, - воскликнул батюшка. - Даже неисповедимо все вышло... Почитай в Питере вы были, на Невском.

- Да и были бы... Измена вышла. Англия, вишь ты, задом завертела, подмоги не дала. Надо бы ей с флотом быть, тогда наш левый фланг не обошли бы. Эстонцы тоже помощи не оказали. Ну, и господа офицеры наши вроде как свирепствовали с мужиком. Мужик, знамо, этого не любит... Вот и...

- Да, да, - вздохнул батюшка. - Свершается реченное... Брат брата бьет... Нате, христоробивые воины, картошечки вам... А в Питере мы будем скоро... Вера горами движет... Факт!

Из тьмы резко и пронзительно:

- Васильев! Васильев!.. Самохва-алов!! Айда скорей! Господин поручик прибыли...

- А кляп с ним, с порутчиком-то, - сказал бородач и, перебрасывая с ладони на ладонь горячую картошку, закричал: - Сей минут! Идем!!

\* \* \*

Сыпал мелкий снег. Вершины сосен сонно брызжали под легким ветром. У потухавших костров стихли звуки и движенья.

Ночь. Николай Ребров спит, свернувшись на сене, у костра. Сон его прерывист, сбивчив. "Встань, иди... А то умрешь..." - "Сейчас", - говорит он и быстро вскакивает. Глаза его мутные, ничего не понимающие. Но вот мысль и решимость озаряет их. Он тоскливо и медлительно оглядывается кругом, как бы прощаясь с теми, с кем коротал далекий путь. Оглобли тесного табора приподняты. Лошади понуро опустили головы, дремлют. Карп Иваныч храпит под двумя шубами в обнимку с сыном. Его лицо пышет теплом: снег тает и бежит ручейками в открытый рот. На возу чернеет скорченная фигура священника. Помещица спит возле коровы. Ее муж подбрасывает в костер топливо и насвистывает веселую. Где-то тонко и лениво тьякает собачонка.

Николай Ребров перекрестился и, пошатываясь, зашагал к дороге. Тьма становилась зыбкой, расплывчатой. Вверху, упав на снеговые тучи, дрожал рассвет. Николай Ребров двигался по дороге, как лунатик, безжизненно и слепо. Брошенные возы, таратайки, походные кухни казались ему то ползущими копнами сена, то невиданными чудовищами. Вот слон больно ударил его бивнем в лоб. Юноша отпрянул, открыл глаза: приподнятая, вставшая на пути оглобля.

"Спеши... А то умрешь"... Кто-то захохотал среди шагающих рядом с ним сосен, и близко взлаяла собачка. "Спеши, спеши, спеши", твердило сердце, но голову обносил угар, и нельзя понять, туда ли он идет. Ученическая шинелишка расстегнута, картуз с медным значком напозавет на глаза, сзади треплется холщевый мешок с вещами, давит плечи, и юноше кажется, что в мешке ненужный груз: песок и камни. Он хочет его сбросить, он уже занес руку, но мешок вдруг стал легким, и ноги зашагали уверенней.

- Куда землячок?

Он оглянулся. Чуть позади его шагает, тяжело припадая на ноги, ободранный парень.

- А ты куда?

- Прямо. Я из Красной армии удрал. - Красноармеец легонько снял с Николая Реброва торбу и перекинул через свое плечо: - Видать, устал землячок. Ничо... Я подсоблю...

- Захворал я, - сказал юноша. - В тепло хочется, в хату. Верстах в двадцати отсюда поместье Мусиной-Пушкиной... Там, говорят, пункт. Медицинская помощь.

- Лазарет, что ли? Я тоже чуть жив... Ноги поморозил... Как поем, так сблюю. Да и жрать-то нечего... Ослаб...

- Скоро утро, - вяло и задумчиво сказал Николай Ребров. Во рту сухо, в виски стучало долотом, каждый шаг болезненно отзывался во всем теле. Я больше не могу, - сказал он. - Вот костер горит. Пойду, попрошусь, прилягу...

- Жаль, землячок... А то пойдём... Вместях-то веселей быдто... Я поплетусь, а то ноженьки зайдутся, беда. Вишь, обутки-то какие... На торбу-то... Прощай... А ты откуда?

- Из Луги.

- А я Скопской... Прощай, товарищ... - И вдогонку крикнул, как заплакал: - Мать у меня померла в деревне!.. С голодухи, знать. Земляк сказывал, билизованный... Хрестьянин... Померла, брат, померла. - Красноармеец громко сморкнулся и покултыхал вперед.

Глава II

Золотое и красное. Бездонный колодец. Мария

Какое-то все золотое и красное. Поют птицы, перекликаются ангельские голоса. И не хочется уходить, отрывать от этих грез. А надо.

- Спит еще, - сказал ангел.

- Пусть спит... Он кажется очень нездоров, - сказал другой ангел.

- Какой он хорошенький.

- Я бы его поцеловала. Очень красивые брови... И все.

- А глаза голубые.

- Откуда знаешь?.. Он защурился. Спит.

- Мне думается, голубые... При светлых волосах это всегда. Кажется чайник ушел. Где чай?

- Давай лучше заварим кофе. А почему ж у него брови черные? Значит, глаза карие...

Достань-ка масла.

- А где оно?..

Ангелы говорили очень тихо. Но где-то вблизи загромычала русская матерная брань, рай провалился вдруг, и юноша поднял каменные веки. Два ангела в синих, отороченных серой мерлушкой, шубках улыбочиво глядели на него.

- Здравствуйте, с добрым утром! - приветливо воскликнули они. - Хорошо ли спали?

Бедный, вы больны?

- Я - Варя, - подошла черненькая, с маленькими алыми губами. - Позвольте познакомиться.

- Мы помещики из Гдовского уезда, - сказала белокурая - Кукушкины. А папа ушел проверять скот.

- Мы же со всем имуществом... Ах, какой ужас эта революция!

Ругань на дороге становилась ядреней и жарче. Поднимали кувырнувшийся в канаву воз. - Эй, кобылка!.. так-так-так-так... Иди, пособилай!.. так-так.. - Становь дугу! А на дугу вагу... Неужели не смыслишь, так-так-так. - Ага! Пошла-пошла-пошла!.. Понукай хорошень кнутом!.. Ну, сек вашу век!.. Ну!!

Юноше хотелось провалиться.

- Благодарю вас за приют!.. - крикнул он. - Мне очень стыдно... Я ночью так ослаб... Извините...

- Ах, что вы! Пожалуйста... А мы пробираемся на Юрьев. Там папочка ликвидирует скот, и мы чем-нибудь займемся, - лепетала черненькая Варя, помешивая закипающее в котелке молоко. - Это в том случае, конечно, если генерал Юденич не очистит Россию от красных банд.

- Ах, пожалуйста! - воскликнула белокурая Нина, и ее строгие брови сдвинулись к переносице. - Какую с папочкой вы городите чушь... Извини меня...

- Брось, сестра, никогда мы с тобой не сойдемся. Там бы и оставалась со своими красными. А вот и папочка...

К костру подошел с быстрыми черными глазами чернородый человек.

- Ага! Вы уже проснулись? А ведь только еще 10 часов, - заговорил он сиплым простуженным голосом. - Ну, батенька, и хороши вы были вчера. Эх, жалко термометр далеко. Дайте-ка голову... Ого! Жарок изрядный.

На большом ковре пили кофе и горячее молоко. Лопнул стакан. Кукушкин злобно бросил его в снег. Парень-работник в рваном овчинном пиджаке возился у костра: переставлял рогульки с повешенными на них котелками, рубил баранью ногу, подбрасывал дрова. Белый понтер, Цейлон, спал у самого костра на сене и дрожал. Помещик ел быстро, обжигался, много говорил, но юношу мучила болезнь, и мысль определенно и настойчиво влекла его на отдых. Сестры шептались:

- Я говорила - голубые...

- Ничего подобного - серые.

Небо было чистое, с легким морозом. Ожившая дорога двигалась сквозь сосны - телеги, овцы, таратайки, коровы, всадники, солдаты, мужики - дорога взмывала, скрипела, скорготала, гайкала и, дуга в дугу, как хребет допотопного дракона, с присвистом и гиком, шершаво змеясь уползала вглубь.

- Я должен итти, - сказал юноша, - вы не знаете, сколько верст до Мусиной-Пушкиной?

- Ах, пожалуйста, мы вас не пустим! - вскричали сестры ангельскими голосами.

И вновь, на короткое мгновение, покраснело, зазолотилось все.

- Я болен... Мне надо доктора... Там есть.

- Тогда вот что, - проговорил отец и поднялся. - Иван! заседлай двух лошадей... Понял?

- Трех, трех! - вскричала Варя.

\* \* \*

Николай Ребров в ватной старенькой венгерке, подаренной ему помещиком, куда-то плывет в солнечном пространстве.

- Вы мне обязательно должны писать... Прямо: Юрьев, до востребования, Варваре Михайловне Кукушкиной. Ах, милый Коля! Как жаль, что вы больны... Держитесь крепче!

Варя плывет рядом с ним, плывет и говорит, и еще плывет Иван, плывет дорога, люди, лошади, коровы, лес, плывет и фыркает Цейлон.

- У меня двоюродный брат. Я его должен разыскать. Он военный чиновник. При полевом казначействе.

- А вы любите приключения? Я люблю. А то жизнь такая серая, скучная... Особенно в деревне... Мама у нас нет. Я всегда мечтала: встречу его, встречу, встречу!..

- Кого?

- Вас! Ха-ха-ха! Вам смешно? Милый, милый Коля. И как быстро в несчастья сходятся люди. Вы мне сразу стали каким-то родным, близким. Мне ужасно хочется ухаживать за вами, быть сестрой милосердия. Но папочка у нас очень строгий... А мама умерла.

Иван плывет, ударяет по воде веслами, лошадь мотает головой, весла говорят:

- Вам, барышня, пора обратно.

- Ничего подобного. Цейлон, Цейлон, иси!

- Барин ругаться будут.

- Не твое дело. Отстань!

Ах, к чему эти споры, когда все плывет, когда голова валится на грудь и хочется тишины и одиночества.

- Цейлон!!.

Красный лес гуще, гуще. Лес преградил дорогу.

- Тпррру!!

Туман и тишина.

\* \* \*

Николай Ребров застонал. Зачем? Просто так, взял и застонал. Бездонный колодец. Мерцают огоньки. Под ним - солома и что-то твердое. Он полого скользит на дно, медленно, но верно. И все стонут, справа, слева, впереди, стонут, охают, бормочут и все, вместе с ним, скользят на дно. Там мрак и холод.

Идет вся в белом, белая женщина идет, идет со дна, из холода и тьмы, но в глазах ее огонь и ласка. Не даром к ней тянутся с низу жадные, трепещущие, скорченные руки, приподнимаются от грязной соломы взлохмаченные головы:

- Сестрица... Родненькая.

- Где я? - спросил сам себя Николай Ребров.

Длинный низкий коридор, солома, стоны, кучи тел, электрические лампочки над головой, сестра. И в случайной волне воспоминаний вяло проплывают разрозненные клочья картин и звуков: костры, как кони, и гривастые кони, как костры, снег, выстрел, зеленая зыбь Пейпус-озера и - "милый, милый Коля"... Чей это голос, чьи глаза? Сон или явь все это? Женщина, как хмельной туман, как черемуха в цвету, склонилась над ним, и белая рука коснулась его головы.

- Вы очень хворайт. Можете подниматься? Можете вставать? Идти за мной!

Сон продолжался, белый туман влек его вперед, шуршала солома под ногами, шуршал и

рвался недовольный ропот многих голосов:

- А-а, ишь ты... а-а-а... Нас бросила-а-а...

- Скажите, где я?.. Куда меня ведете?. Почему они...

- Идти за мной... Дайте - помогу вам. Руку, руку!

Щурил глаза. И какой-то синий свет лил сверху, волнами ходил свежий воздух. Дорога, сосны, снег, стена, ступени вверх, вдруг - тепло, запахло хлебом, белая постель и милые, милые, чьи-то бесконечно добрые глаза. Николай Ребров поймал белую руку и поцеловал. Кто-то ударил медной ложкой в медный таз: бам! И этот звук, как кусок меди, как раскаленная большая пчела вьется возле юноши, жужжит, врывается в ухо, вылетает, звенит - стрекочет перед самыми его глазами. Хочется прогнать, уничтожить или самому умереть. Он взглядывает на таз: таз на месте, а звуки ходят-ходят. Кто смеет будить его? Кто хочет прервать его светлый сон?

- Уйдите, не трогайте... Ма-а-ма!! - прокричали в пустоту чужие его уста, но меч опустился, сон и явь отлетели прочь.

\* \* \*

Полдень, солнечные квадраты окон опрокинулись на крашенный чистый пол, тени от легких занавесок, фикусов и цветущих фуксий легли нежным узором. Белые стены небольшой комнаты, изразцовая, шведская печь, крепкая простая мебель, темное распятие в углу на полке. За огромным столом бритый длинноволосый старик в коротких синих панталонах, шерстяных чулках и грубых башмаках. Он пьет кофе. От белой очищенной картошки - пар. На тарелке гора сливочного масла.

К Николаю Реброву подходит с кофе сестра Мария, дочь старика.

- Подкрепляйте себя, - говорит она ласково. На ее косынке маленький красный крест.

- Я не знаю, как благодарить вас, сестра, - вы приютили меня в своем доме. А там, в коридоре, я, наверно, подох бы на соломе, как пес. Благодарю вас, сестра Мария! Ведь я провалялся здесь, сколько? Десять дней? И вас благодарю очень, Ян. Пожалуй к вечеру мне можно двинуться дальше.

- Нет, - сказала сестра Мария и приветливое лицо ее стало озабоченным. - Зачем торопить? Три дня должны отдыхать. А лучше - неделя. Куда спешить? Пейте кофе, сливок, сливок больше... Кушайте масло. Сейчас суп подаваль...

- Я не знал, что на чужой стороне встречу таких добрых людей.

- Если плохо будет житье, приходи опять, - заговорил старик тонким голосом. - Работник будешь, моонамис... Лес поедем, дроф делать... как это... - Сестра Мария грустно смотрела юноше в лицо, о чем-то думала. Она у меня... как это... святая, - сказал старик, - кахетсеб... всех жалеет. А нас ни один собак не жалеет. Сына терял, в красных был, под пулю попадался, белые вешали на сук. Сын мой. А ей брат... Густав... Один только и был у нас, как солнце. Вот нету больше.

Юноша заметил: старик сбросил пальцем с глаз слезу. Сестра Мария часто заморгала.

- Он был очень похож на вас... Очень, - сказала она тихо, - оставайтесь с нами... Время самое несчастное... Зачем уходить? Куда? - и ее рука коснулась задрожавшей руки юноши.

- Нет, не могу, - и Николай Ребров вздохнул. - Буду искать брата... Что скажет брат?

У сестры Марии округлились и сузились глаза, она быстро отдернула руку, встала, вышла вон. Юноша удивленно посмотрел ей вслед.

- Как узнали про сына? - спросил он, помедлив.

- Толковал наш, эст. Был... как это... контуженый вместе с мой Густав. Бежал. С белыми пробрался сюда. Он энамланэ... ну, это... большевик. Зачем, спрашиваю, пришел? Он отвечает: мой святой долг раз'яснить солдатам... как это... наш... наш программ. Он сказал: нас, большевиков, много пришло с белыми.



Вскоре - день был воскресный - собрался народ. Чинно уселись вдоль стен и посредине. Женщины в белейших платках. Ян поставил на стол маленький, накрытый вязаной салфеткой аналой, положил на него священную книгу и, надев большие круглые очки, стал читать на непонятном языке. Он читал не торопясь, выразительно. Останавливался, чтоб высморкаться, чтоб утереть платком глаза. С зажженных восковых свечей капал воск, и капали слезы старика на книгу. Молящиеся вздыхали, охали, стонали, выражение лиц их постепенно уходило от тела в дух. Старик прервал чтение и начал говорить от себя, страстно и порывисто, он всплескивал руками, сокрушенно тряс головой, кивая на распятие. Голос его сдавал, плескался, тонул в слезах. - О, боже, боже, помоги нам, погибаем! - Среди молящихся послышались всхлипыванья, сначала сдержанно, скрытно, потом громче, громче. И вот заголосил, навзрыд, заплакал весь народ и шумно опустил на колени. Старик же поднялся во весь рост, он тоже рыдал и восклицал, как одержимый, бия кулаками в грудь. Сестра Мария, стоя на коленях, стиснула ладонями голову, иступленно кричала: "Пюха нейтси Мария! Езус Христус! спаси его, спаси его! Удержи его здесь!".

Николай Ребров созерцал все это вначале с равнодушным любопытством, но вот волнами закачалась под ним кровать, рыдания молящихся подхватили его душу, и все осталось позади; он на коленях среди простертых на полу людей, и нет ничего, кроме рыданий, кроме возгласов, теперь понятных для него и ясных. И он уже не он, он во всех и все в нем, и это чувство единения, этот порыв духа вглубь и ввысь, вмиг до краев пресытил все существо его неиз'яснимой радостью, и стало больно, и стало тяжело, жутко.

- Аамен, - торжественно произнес старик. Все смолкло.

Николай Ребров вздрогнул, очнулся. Лицо его мокро от слез, губы дрожали. Не покидая кровати и не двигаясь, он лежал на спине, очарование сползло с него, как сладостный угар: все спайки с людьми мгновенно рушились. Он опять один среди чужих, и видел десятки устремленных на себя враждебных глаз. Психоз прошел. Он - вновь человек, лежащий на кровати.

- Аамен, - еще раз сказал старик.

### Глава III

#### Английский сапог и русская портянка

Спустя трое суток Николай Ребров ушел. Был ядреный солнечный день, поля и перелески отливали свежими красками, воздух звенел морозной белизной, и настроение юноши сразу стало бодрым. После тяжелой болезни свежий воздух пьянил его, как хорошее вино. Людская волна на шоссе скатилась, лишь кой-где попадались отставшие от армии солдаты, бесколесая повозка, труп лошади в канаве, как в могиле, потерявший силы пешеход.

Шоссе подвело юношу к фольварку остзейского барона. Белый дом обнесен невысокой кирпичной оградой. У открытых ворот часовой в небрежной позе. Он грызет семечки, щека его подвязана грязнейшей тряпкой и кой-как, впритык к стене - винтовка со штыком. - Эй, ты! Куда? - Но Николай Ребров, не останавливаясь, вошел внутрь двора. Справа, у кухни, солдат в рубахе и окровавленном фартуке обдирал баранью тушу. Рыжая собака, нетерпеливо повизгивая, переступала с ноги на ногу и пускала слюни. Из раскрытого низенького окна кухни валил хлебный пар, и в пару, как в облаках, торчала рыжекудрая, краснощекая голова херувима. Херувим курил трубку и смачно сплевывал чрез окно на снег. Пересекая двор, быстро шли с корзинками две молодые толстозадые эстонки. Изюм всех щелей, как к зайчихам зайцы, молодежато перепрыгивая чрез кучи снега, скакала к ним неунывающая солдатня.

- А дозвольте, дамочки, узнать, какие у вас супризы продаются?

- Ах, какой сдобный дамский товарец здесь: все двадцать четыре удовольствия!

Но поднявшаяся было любовная потеха с кокетливым женским визгом и увертками враз оборвалась:

- Вестовой! Где вестовой?!

- Есть! В момент, ваше благородие... - и запыхавшийся безусый солдат, быстро оправив вылезшую из брюк в возне рубаху, подбежал к крыльцу и стал во фронт.

- Немедленно заседлать коня. Понял? И карьером в штаб тыловой части... Вот этот пакет... - сухощавый лысый офицер обернулся и крикнул в дверь: - Сергей Николаевич, скоро?!

- Готово, вот! - и выбежавший на крыльцо молодой человек с белокурой бородкой подал офицеру запечатанный сюргучными печатями большой пакет.

- На! - сказал офицер подскочившему солдату. - В собственные руки генерала Верховского. Обратную расписку мне. Понял? Повтори...

Стоявший посреди двора Николай Ребров вдруг заулыбался и, сорвав с головы картуз, радостно замахал им в воздухе. Сергей Николаевич быстро сбежал с крыльца и бросился юноше на шею:

- Колька, брат! Какими судьбами?!. Вот встреча...

\* \* \*

Николай Ребров никогда не пил такого вкусного чаю с ромом, как в этот вечер у своего двоюродного брата. Маленькая комнатка в антресолях барского богатого дома была занята двумя военными чиновниками: Сергеем Николаевичем и Павлом Федосеичем, человеком пьющим, неряшливым, с толстым животом и бабьим крикливым голосом. В комнатке жарко. Денщик открыл бутылку эстонского картофельного спирта. Сергей Николаевич снял щегольской английский френч.

- Ничего, Колька! Молодец, что удрал, - говорил он приподнято и дымил отвратительной капустной сигареткой. - По крайней мере, свет поглядишь.

- Пей, вьюнош! - беспечно прокричал Павел Федосеич и налил разбавленного спирту. - Мы, брат, пьем не то, что у вас в Совдепии. Мы, пока что, богаты. Эй, Сидоров! Что ж ты, чорт, с селедкой-то корячишься?!

- Сей минут, ваше благородие.

- Не унывай, Колька, - говорил брат. - Есть положительные данные, что наша армия вновь будет формироваться. Возможно, что в Париже. Слыхал? И мы туда. Потом перебросимся на Дальний Восток и уж грянем по-настоящему.

- Неужели в Париж, Сережа?! - глаза юноши засверкали огнем от вдруг охватившей его мечты и спирта.

- В Париж, брат, в Париж! В вечный город. Во второй Рим, к галлам, к очагу великой бессмертной культуры и цивилизации. Ну, Колька, пей! Павлуша, за процветание прекрасной Франции!

- Чорта с два, - протянул Павел Федосеич. Его рыжие пушистые усы и толстые обрюзгшие щеки затряслись от язвительного смеха. - Фигу увидим, а не Париж. Нет, дудки! Крышечка нашей северо-западной армии, со святыми упокой. Эх! - он горестно вздохнул, выплеснул из стакана чай и выпил спирту. Выпуклые его глаза были тревожны и озлоблены.

- Значит, у тебя нет веры, нет?

- Во что? - спросил толстяк.

- В мощь нашего истинно-народного духа? В силу русских штыков, русского офицерства?

- Увы, увы и еще раз увы...

- На кой же чорт ты лез сюда?

- Дурак был. Сукин сын был. Сидеть бы мне, толстобрюхому болвану в своем Пскове, голодать бы, как и все голодают... По крайней мере, брюхо бы убавилось и одышка прошла. А

офицерье наше наполовину сволочь, помещичьи сынки...

- Тсс... Павлуша, не визжи... Неловко...

- А-а-а... Ушей боишься? А я вот не боюсь. Эй, Сидоров!. А хочешь ли ты знать правду?

- Сидоров! - сверкнув на товарища глазами, сказал Сергей Николаевич. - Вот что, Сидоров, иди в кухню и принеси ты нам баранинки с картошечкой. - И когда денщик ушел, он в раздражении заговорил: - Слушай, Павел... Я тебя прошу вести себя прилично. Нельзя же деморализовать людей.

Павел Федосеич выслушал замечание с фальшивым подобострастием, но вдруг весь взорвался визгливым смехом:

- Деморализация? Ха-ха-ха... Мораль? А где у нас-то с тобой мораль, да у всей нашей разбитой армии-то с Юденичем вместе?! Чьи мы френчи, да сапоги носим? Английские. Чье жрем-пьем? Английское да французское. Чье вооружение у нас? Тоже иностранцев.

- Постой, погоди, Павлуша...

- Нечего мне стоять... Я и сидя... Эх, Сережа, Сережа... Ведь ты пойми... Нет, ты пойми своим высоким умом. На подачке мы все, на чужеземной подачке. Бросили нам вкусный кусок: на, жри, чавкай! Но ведь даром никто не даст, Сережа... И вот нам, русским, приказ: бей русских!..

- Но позволь, позволь...

- Так-так-так... Я знаю, что ты хочешь возражать: святая идея. Ха-ха-ха... Врет твой ум!.. Ты сердце свое спроси, ежели оно у тебя есть, - захлюпал, засвистал больным зубом толстяк и схватился за щеку. Ага! Зачем им нужно? Антанте-то? Эх, ты, теленок... со своей умной головой... А вот зачем. Им необходимо нашу Русь ослабить. Уж если землетрясение, так толчок за толчком, без передыху, чтоб доконать, чтоб пух из России полетел. Значит, ты этого желаешь? Да? Этого?

- Нет. Но дело в том, что...

- Врешь! Ей богу врешь. Сразу вижу, что будешь от башки пороть. Тьфу!..

Сергей Николаевич шагал в одной рубахе из угла в угол, нервно пощипывая свою белокурую бородку. Щеки его горели. Он с опаской поглядывал на дверь, откуда должен появиться Сидоров, и на своего брата, растерянно хлопавшего глазами. Павел Федосеич, выкатив живот и запрокинув голову на спинку кресла, сипло с присвистом дышал.

- И ты, зеленый выюнош, Володя... как тебя... Петя что ли...

- Я - Николай Ребров...

- Наплевать... Знаю, что Ребров. Ты за братом не ходи... На Парижи плюй, на Дальние Востоки чхай. Свое сердце слушай. Ха, мораль... Обкакались мы с моралью-то с возвышенной...

\* \* \*

Легли спать очень поздно. Братья на одной кровати. Электрическая люстра горела под красным колпаком. Теплый спокойный сумрак нагонял на юношу неотвязную дрему. И сквозь дрему, как сквозь вязкую глину, вплывали в уши вихрастые зыбкие слова:

- Я тебе дам письмо... Понял?.. Рекомендацию... Может быть, примут. Даже наверное... А здесь - битком... Ах, ты, мальчонка славный... Опьянел?..

Павел Федосеич долго пыхтел в кресле, разуваясь, с великим кряхтением закорючив ногу, он снял сапог, посмотрел на него:

- Английский... Сволочь, - и швырнул в угол. - А это вот русская... он понюхал портянку, высморкался в нее и тоже бросил в угол. Потом гнусаво, по-старушичьи затянул:

Ах ты, Русь моя, Русь державная,

Моя родина православная.

Потом заплакал, перхая и даваясь:

- Бывшая, бывшая родина... Бывшая!.. - голова его склонилась на грудь, он привалился виском к спинке кресла, разинул беззубый рот и захрапел.

На цыпочках вошел денщик Сидоров. С простодушной улыбкой он посмотрел на спящего Павла Федосеича, бережно разул его вторую ногу и унес сапоги чистить, захватив к себе остаток спирта и закуски.

#### Глава IV

Старая орфография. Там жизнь, там!

Николай Ребров прожил у двоюродного брата два дня. На третий - в бодром и веселом настроении зашагал дальше, искать свою судьбу. В его кармане лежало рекомендательное письмо брата к поручику Баранову, а в сердце запечатлелись прощальные напутствия Сергея Николаевича и родственные, почти отеческие об'ятия подвыпившего Павла Федосеича. Еще на сердце и в мыслях была крылатая мечта о предстоящей поездке в Париж и путешествии кругом света. Юноша весь погрузился в эту мечту, он так в нее поверил, что ядовитый сарказм Павла Федосеича ничуть не мог его поколебать.

И в мечтах, не замечая пути, он еще засветло пришел в соседний фольварк, где квартировал штаб дивизиона. В канцелярии, опрятной и светлой, сидели два писаря. Один набивал папиросы, другой шлепал на пакеты печати.

- Тебе кого?

- Поручика Баранова.

- Ад'ютанта? Они у генерала. Сейчас придут.

Зазвякали серебряные шпоры, и через открытую из генеральского кабинета дверь вышел сухой и высокий, подтянутый офицер. Нахмутив брови, он быстро пробежал письмо.

- Ага... От Сергея Николаевича. Но дело в том, что мы штаты сокращаем... А впрочем... Вы хорошо грамотный?.. Попробуйте что-нибудь написать...

Николай Ребров красиво, каллиграфически набросал несколько фраз. Раздался звонок генерала.

- Довольно... Прекрасно... Дайте сюда, - сказал ад'ютант и, нежно позвякивая шпорами по бархатной дорожке, скрылся.

Через минуту выплыл в расстегнутом сюртуке тучный генерал. Писаря вскочили и вытянулись. Короткошеяя, круглая, усатая голова генерала, завертелась в жирном подбородке, он потряс бумагой под самым носом юноши и - сиплым басом:

- Это что? Новая орфография? Без еров, без ятей? Здесь, братец, у нас не Совдепия. Не надо, к чорту, - и, раздраженно сопя, ушел обратно.

За ним долговязо ад'ютант. Писаря хихикнули. Один тихо сказал:

- Пропало твое дело.

- Ни черта, - сказал другой, - он у нас крут, да отходчив...

Вошедший ад'ютант об'явил:

- Ты принят... Не взъщи, у нас на "ты"... Субординация. - И к писарю: - Слушай, как тебя... Масленников, выпиши ему ордер на экипировку. Жить он будет с вами. А ты, Ребров, подай докладную записку о зачислении. Ты, видать, грамотный. Из какого класса? Окончил? Значит почти студент. Отлично. Я генерала переубедил. Старайся быть дисциплинированным. Волосы под гребенку. Орфография - старая. Если произнесешь слово "товарищ" генерал упечет под суд. Садись, пиши. Сколько тебе лет? Восемнадцать? Можно дать больше.

\* \* \*

Их комната была просторной, светлой, но насквозь прокуренной и пропахшей какой-то редечной солдатской вонью. По стенам висели: в узеньких золоченых рамках старинные батальные гравюры английских мастеров, давно остановившиеся в дубовой оправе часы и, на

вбитых гвоздях, амуниция писарей. Грязь, окурки, кучи хлама. В особенности блистал неряшливостью угол прапорщика Ножова. Сам прапорщик тоже представлял собою фигуру необычайную: черный, длинноволосый, с остренькой бородкой и впалой грудью, он похож на переряженного в военную форму священника. Лицо сухое, с черными, блестящими, как у фанатика, глазами. В боях он командовал отрядом мотоциклистов, но при беспорядочном, похожим на бегство, отступлении, мотоциклетки застряли в проселочной русской грязи и достались красным. Теперь прапорщик Ножов не у дел, навещает в канцелярию дивизиона и ждет назначения. С писарями - по-товарищески, образ его мыслей круто уклонился влево, но писаря - матерые царисты - оказались плохими ему товарищами и за прапорщиком Ножовым, по приказу свыше, ведется слежка.

Николай Ребров этого не знал и сразу же с прапорщиком Ножовым сошелся. В первое же воскресенье они пошли вдвоем гулять. Был морозный солнечный день. Помещичий, облицованный диким камнем дом стоял в густом парке и походил на средневековый замок.

- Ложно-мавританский стиль, - сказал Ножов. - А вон та крайняя башенка в стиле барокко, выкрутасы какие понаверчены...

- Да, - подтвердил юноша, ничего не понимая.

- Я вам покажу, интересные в этом доме штучки есть: в нижнем этаже очень большой зал, перекрытый крестовым сводом. Очень смелые линии, прямо красота. И недурна роспись. Подделка под Джотто или Дуччио, довольно безграмотная, впрочем. Под средневековье...

- А вы понимаете в этом толк?

- А как же! - воскликнул Ножов. - Я ж студент института гражданских инженеров и немножко художник. Фу, чорт, как щипнуло за ухо... - он приподнял воротник офицерской английской шинели и стал снегом тереть уши. Ну, а вы как, товарищ! Вы-то зачем приперлись сюда, в эту погибель, с позволения сказать? Ведь здесь мертвечина, погост... Трупным телом пахнет.

- А вы? - вопросительно улыбнулся юноша.

- Я? Ну, я... так сказать... Я человек военный... Ну, просто испугался революции... Смалодушничал... А теперь... О-о!.. Теперь я не тот... Во мне, как в железном бруске, при испытании на разрыв, на скручивание, на сжатие произошла, так сказать, некая деформация частиц. И эти, так сказать, частицы моего "я" толкнули меня влево. - Он шагнул, как журавль, клюя носом, тербил черную курчавую бородку и похихикивал. - Я постараюсь себя, так сказать...

- А нас убежало человек двенадцать из училища. Просто так... - прервал его юноша. - Погода хорошая была. Снялись и улетели, как скворцы. У белых все-таки посылней. Сало было, белый хлеб. И дисциплина замечательная. А потом, они говорили, что большевиков обязательно свергнут, не теперь, так вскорости. Ведь у нас многие убежали. В особенности купцы. Даже архиерей. А семейства свои оставили.

- Какое же у архиерея семейство? Любовница - что ли?

- Что вы, что вы! - сконфузился юноша. - Я про купцов.

Они прошли версты две. Местность открытая, слегка всхолмленная, кой-где чернели рощицы, скрывавшие мызы эстонцев. Свежий снег ослепительно белел под солнцем. Николай Ребров щурился, студент-прапорщик надел круглые синие очки.

- Да, товарищ, - сказал он. - Поистине мы с вами дурака сваяли. Там жизнь, там!

- Где?

- За Пейпус-озером. И только отсюда, с этого кладбища, я по-настоящему, так сказать, вижу Русь и знаю, что она хочет...

- Ничего не хочет, - занозисто проговорил Николай Ребров. - Все хотят, чтобы красные

сквозь землю провалились. Аксиома. И как можно скорей.

- Кто все-то?

- Как кто? Все! Спросите крестьян, спросите горожан...

- Да, да!.. Спросите кулаков, купцов, долгогривых, зажиточных чиновников, у которых свои домишки... Так?

Они вступили в небольшой хвойный перелесок. Налево - просека. Слышался крепкий стук топора. С лаем выскочила черненькая собачонка - хвост калачом.

- Нейва! - крикнул прапорщик Ножов. Собачонка насторожила уши, завиляла хвостом. - Подождите, товарищ. Вот присядьте на пенек... Натяните папироску, я сейчас.

Ножов рысью побежал по просеке, собачонка встретила его по-знакомому и оба скрылись в лесу.

Вскоре топор замолк.

Николай Ребров, затягиваясь крепким табаком, старался привести в порядок свой разговор с Ножовым. Почему прапорщик думает, что только отсюда можно разглядеть, что хочет Русь? И что он в этом деле понимает? Или вот тоже Павел Федосеич... Ведь за дело взялись люди поумнее их: генералы, адмиралы, может быть, из царской фамилии кой-кто, наконец, такие известные головы, как Милюков, Родзянко, Гучков... А у них кто? Там, за Пейпус-озером? Кто они? Даже смешно сравнить.

По просеке, прямо на юношу, мчался заяц, и где-то с визгливым лаем, невидимкой носилась собачонка. Саженьях в трех от замеревшего юноши заяц присел, поднялся на дыбки и стал водить взад-вперед длинными ушами. Николай Ребров гикнул и бросил шапку. Заяц козлом вверх и - как стрела вдоль опушки леса. За ним собака. Николай тоже побежал следом с диким криком, хохотом и улюлюканьем, но измучился в сугробах и, запыхавшийся, вернулся на шоссе. От просеки, не торопясь, нога за ногу, шел прапорщик и сквозь темные очки читал газету.

- Свеженькая, - сказал он, тряхнув газетой, его сухощекое лицо расплылось в улыбке.

- Откуда? - удивился юноша.

- Из России... Только чур - секрет... Тайна. Поняли? А вот тут еще кой-что... Повкуснее, - и он похлопал себя по оттопырившемуся карману, откуда торчал тугий сверток бумаги. - Эх, денег бы где достать...

- Зачем вам?

- Как зачем? А разве это даром? Думаете, это дешево стоит? Впрочем, у них отлично, так сказать, поставлено.

- Что?

- Фу, недогадливый какой. Да пропаганда! Ведь здесь, если хотите, очень много наших агентов, большевиков. Ну, и...

- Почему - наших? Разве вы большевик?

- А как вы думаете? - Ножов поднял очки и прищурился на юношу. Потом, спокойно: - Нет, я не большевик... Не пугайтесь. - И... - он погрозил пальцем, - и - молчок. - Последнее слово он произнес тихо, но так внушительно, с такой скрытой угрозой в глазах и жесте, что Николай Ребров весь как-то сжался и растерянно сказал:

- Конечно, конечно... Будьте спокойны, товарищ Ножов. - Ну, а вот объясните мне: почему наша армия потерпела такое фиаско?

- Какая наша армия? - оторвался Ножов от чтения на ходу. - Ах, армия Юденича? Да очень просто. Тут и немецкие интрижки против союзных держав: Германия себе добра желала, Франция с Англией - себе. А об России они не думали. А потом этот самый Бермонд... Слыхали? Который именовал себя князем Аваловым. Слыхали про его поход на Ригу против большевиков? Нет? Когда-нибудь после... Долго рассказывать... Ну, еще что?.. Раздор в

командном составе армии, шкурничество, паршиво налаженный транспорт, взорванный возле Ямбурга мост... Словом, одно к одному так оно и шло. А главное - реакционность наших командиров. Как же! Их лозунг "Великая, неделимая". Самостоятельность Эстонии к чорту на рога. После взятия Питера мы мол двинемся на Ревель". Вот Эстония нам и показала фигу... Вы что улыбаетесь?

- Да, думаю, что все это к лучшему, - несмело сказал Ребров.

- Наш разгром-то? Конечно, к лучшему!

Глава V

Пустота и одиночество. Причина забастовки превосходительной ноги

Время тянулось серое, однообразное. Наступил декабрь. По канцелярии необычайно много дела. Николай Ребров был принят в штат по ходатайству поручика Баранова, он получил нашивку за толковое исполнение бумаг. Писаря злились, за глаза называли его "барчонком" и дулись на начальство, что выделяет своих, белую кость, ученых, а на простых людей им - тьфу.

Масленников, как-то вечером, когда в канцелярии никого не было, встал, одернул рубаху, кашлянул и дрогнувшим голосом сказал ад'ютанту:

- Ваше благородие... А ваш нашивочник-то новый с Ножовым путается. Все вдвоем, да все вдвоем. Куда-то ходят...

Мускулы крепкого лица поручика Баранова нервно передернулись:

- Не твое дело! - крикнул он. - Тебя я спрашивал? Отвечать только на вопросы! Я тебя заставлю дисциплину вспомнить!

Масленников по-идиотски разинул рот и сел.

За последнее время поручик Баранов раздражителен и желчен. Виски его заметно начали сесть, крепкий упрямый подбородок заострился. Из центра, правда, в секретных бумагах, приходили неутешительные вести: северо-западную армию вряд ли будут вновь формировать, и всему личному составу грозит остаться не у дел. Об этом знал и Николай Ребров: кой-какие случайно подхваченные обрывки фраз между генералом и поручиком, кой-какие прошедшие чрез его руки бумаги, лаконичные и мрачные записки от Сергея Николаевича и, главное, широкая осведомленность прапорщика Ножова.

- Ихнее дело, товарищ, швах...

- Чье? - спрашивал Николай.

- Эх, вы, малютка, - чье! Юденича! Его чуть не арестовали.

- Что вы!.. Кто?

- Эстонское правительство, по приказу союзников, наверно. А вот, не угодно ли... Я выудил копию одного документика, чорт возьми... - взлохмаченный Ножов стал выхватывать из карманов, как из книжных шкафов, вороха газет и бумаг. - Вот! - потряс он трепаной тетрадкой. - Послушайте выдержку... Письмо генерала Гофа. Знаете, кто Гоф? Начальник союзных миссий в Финляндии и Прибалтийских штатах. Слушайте! Это он Юденичу писал, во время наступления или, вернее, во время наших неудач: "Многие русские командиры до такой степени тупоумны (ха-ха! чувствуете стиль, презрение?), что уже открыто говорят о необходимости обратиться за помощью к немцам, против воли союзных держав. Скажите этим дуракам (х-х-х-х... кха-кха! так и написано, ей-богу) скажите этим дуракам, чтобы они прочли мирный договор: все, что Германия имеет, уже ею потеряно. Где ее корабли для перевозки припасов, где подвижной состав?" (и дальше слушайте): "Когда союзники, огорченные неумением и неблагодарностью (ого, опять щелчок!) прекратят помощь белым частям, тогда проведенное с таким трудом кольцо, сдавливающее Красную Россию, лопнет". Вы, конечно, понимаете, товарищ, что это за кольцо такое?

- Понимаю, - сказал Николай, и его сердце сжалось.

А брат писал, что по соседству с ними, в имении Мусиной-Пушкиной, теперь квартирует штаб тыловых частей Северо-Западной армии, что во главе штаба - генерал Верховский, расслабленный, бесхарактерный старик. "Милый Коля... Мне надо бы повидаться с тобою и переговорить об одном деле с глазу на глаз". Юношу это заинтриговало. Он все выбирал время, чтоб поехать к брату, а кстати навестить старого Яна и сестру Марию - лишних каких-нибудь верст пять. Мария Яновна! Николай очень часто вспоминал о ней с нежной благодарностью. И вот, после письма брата, у него что-то прояснилось в душе, вдруг раздвинулись какие-то забытые туманы - далекий бред, скрип повозок, перебранка, ночные костры в лесу и ясный образ, образ быстроглазой Вари, резко и четко впервые поднялся из спящей памяти. Варя! Варвара Михайловна Кукушкина!.. И ее сестра, и их отец... "Трех, трех!" И от'езд верхом в сопровождении Вари, и этот их курносый парень Иван в рваном полушубке... Так? Ну, конечно, так. Ясно все и четко. Где же ты, Варя? Может быть, сестра Мария знает о тебе? В Юрьеве? Твой отец, наверно, променял свои стада на золото и благодушествует там? Или, быть может, веселящийся Париж закрутил тебя, как перышко? - Ага! До востребования... И юноша, удивляясь тому, что так все вдруг чудесно и легко припомнил, написал Варе трогательное письмо. Сердце его ныло, как пред большой бедой, из глаз капали на бумагу слезы. Нервы? Нет. А страшная тоска, душевная пустота и одиночество. И так захотелось быть возле нее, возле Вари, слышать ее голос, обворожительный и ласковый, захотелось видеть свою мать, своего отца, Марию Яновну, и нежданно в мыслях - самовар, свой, домашний, с помятым боком, за столом отец и мать и... Варя. "Вот моя невеста... Мы вместе с ней страдали на чужой земле. Она спасла мне жизнь". - "Очень приятно", - говорит мать. Но это не Варя Кукушкина, это сестра Мария, краснощекая, светловолосая и полная красавица-эстонка. Николай Ребров бросил перо и вытер слезы. Он завтра же с вестовым пошлет письмо. Но вряд ли дойдет оно до Вари. Неужели не дойдет? Эх, чорт...

Он свернулся под одеялом, - покойной ночи, дорогая Варя, покойной ночи! - сверху накинув шинель: нервная дрожь не давала ему уснуть. Ночные часы шли, как скрипучие колеса: кто-то кашлял, скрежетал зубами, чья-то сонная рука чиркнула спичку и пых-пых голубой дымок. Это Масленников. И вновь тишина, и та же дрожь. Лохматый прапорщик храпит, но ухо свое освободил от пряди густых поповских косм и чутко насторожил его к окну. За окном мороз и ночь. Стекла расписаны морозом, и морозный месяц серебрит узор. Да... Варя не в Париже, не в Юрьеве. Варя умерла, отец ее погиб, его дочь - белокурая Ниночка, погибла. Какой ужас... какой кошмар... Только лает их пес Цейлон... Вот он скребет в дверь, вот он стучит лапой в окно, и головастая тень потушила на стекле серебряную роспись.

Николай Ребров не видит - глаза полузакрыты, а чувствует: заскрипела койка, легкий ответный удар в раму, чьи-то шлепающие по полу босые шаги.

- Вы, Ножов?

- Тсс... Тихо...

\* \* \*

Масленников и другой писарь Онисим Кравчук, жирный хохол с красным губастым ртом устраивали вечеринки с плясами. Писарей восемь человек, приходили со стороны солдаты и две-три эстонских дамы. Играли на двух гитарах и скрипке (Онисим Кравчук), отплясывали польки, вальсы, а в перерывы - щупали эстонок. Окна завешивались шинелями. На улице дежурил младший писарь. Оскорбленные эстонцы пронюхали про вечеринки и пожаловались начальству. Очередная пирушка была разогнана. Писаря объявили эстонцам войну, но сами же первые и попали в переделку. Масленникова и Кравчука, возвращавшихся в пьяном виде из гостей, хорошо вздули эстонцы: Масленникову подшибли оба глаза, Кравчуку разбили нос.

- Нехай так, - похвалялся потом Кравчук. - Я ж ему, бисовой суке, вси нози повывихлял... О!



Из-за эстонск дрлись между собой и солдаты. Как-то пьяная компания солдат бросилась трепать вышедшего из шинка в вольной одежде человека. К удивлению солдат - вольный человек оказался офицером. Как? Офицера?! Офицер осатанел, скверно заругался и стал стрелять. Солдаты разбежались, отругиваясь и грозя:

- Пошто в шинок ходишь?! Пошто не в форме?!

- Мы, ваше благородие, за чухну приняли.

- Постой, бела кость! Обожди... Всем брюхо вспорем!..

- Куда вы нас, так вашу, завели?! Жалованье не выдаете, наши денежки пропиваете...

- Теперича мы раскусили, за кого вы стоите... Чорта с два за учредиловку!.. За царя да за помещиков...

Скандал до главного начальства не дошел. Но главное начальство замечало, что армия начинает "разлагаться". Меры! Какие ж меры? Как поднять дисциплину, ежели почти все офицерство впало в злобное уныние от неудачного похода, предалось кутежу и безобразиям? Кредиты иссякли, паек урезан, жалованье выплачивается неаккуратно, а с нового года возможен роспуск армии, если наши дипломаты не сумеют урвать добрый куш там, в верхах, на стороне.

\* \* \*

- Это что у тебя, Масленников, с глазами?

- Корова, ваше благородие...

- Что ж, задом?

- Сначала задом, потом передом...

Бледные губы ад'ютанта задрожали, но он сдержался и, бросив бумажку, приказал:

- Переписать. Наврал.

А тот побитый, щупленький, из какой-то бригады, офицерик подвязал платком скулу, конечно - флюс - и чуть-чуть прихрамывал.

Стал волочить ногу и бравый генерал, начальник дивизионного штаба, где служил Николай Ребров. Однако не любовные утехи поразили превосходительную ногу, нога испугалась общего положения дел армии, и вот - решила бастовать. Генеральский подбородок спал, кожа обвисла, как у старого слона, обнаружилась исчезнувшая шея и красный воротник сделался свободен.

Генерал получил, одно за другим, два донесения с мест. Читал и перечитывал сначала один, потом совместно с ад'ютантом при закрытых дверях. Выкурил целый портсигар, нервничал, пыхтел, нюхал нашатырный спирт, стучал по столу кулаками:

- Мерзавцы! Я этого не позволю... Вешать негодяев!

Первое донесение - о невозможности бороться с большевистской пропагандой и первом побеге группы солдат в Русь. Второе - о начавшейся среди армии эпидемии брюшного тифа.

- Да, генерал, да, - проговорил ад'ютант. - Не хотелось мне огорчать вас, но вот еще сюрприз: эстонское правительство официально заявляет о своем намерении вступить в переговоры с Советским правительством. Даже назначен срок - январь будущего года. Место - Юрьев.

Генерал побелел, покраснел и стал ловить ртом воздух.

- Откуда, откуда это? - задыхался он.

- Хотя эти сведения "по достоверным источникам", как пишет газета, но я думаю, генерал, что на этот раз правда.

- Послушайте, поручик! Это ж невозможно, это ж невозможно... - и генерал схватился за голову. - Тогда в каком же положении окажется здесь наша армия?

Ад'ютант саркастически улыбнулся и сказал:

- В положении разлагающегося трупа, который начинает беспокоить обоняние хозяев...

- А вы, поручик, как-будто... как-будто...

- Впрочем должен вас успокоить, генерал, - быстро изменил ад'ютант тон и выражение лица, - эстонское правительство просто-напросто желает себя вывести из состояния войны с Советской Россией...

- Тьфу! С Совдепией!

- Что же касается признания ее, то...

- Этого еще не доставало! - стукнул генерал пустым портсигаром в стол.

\* \* \*

Прапорщик Ножов весь преобразился. Глаза его горели, он походил на сумасшедшего. Иногда пропадал на два дня, являлся измученный, но всегда бодро говорил юноше, таинственно подмигивая:

- Дело на мази. Пропаганда работает. Агитационная литература поступает исправно. Натекать вам, товарищ... - он совал ему под подушку пачку листовок. - Необычайно талантливо. Прочтите, и - в дело... Сумеете? Только - молчок...

Как-то мрачною снеговою ночью повторилось то же: легкий стук в окно. К подушке юноши склонилась во тьме встрепанная голова:

- Ну, милый Коля, теперь прощай. - И Ножов навсегда исчез.

\* \* \*

Приближалось Рождество. Письма от Вари не было. В душе все настойчивей вставал образ Марии. Юноша грустил. Перед праздниками ему дали вторую нашивку. Писаря прониклись к нему теперь искренним уважением и потребовали вспрыски. Николай Ребров первый раз в жизни напился пьян. Он был красноречив и откровенен, говорил о Варе, о том, что никогда-никогда не встретит ее больше, много говорил о сестре Марии, о милой далекой родине. Ах, если б крылья!..

- А вот я, братцы, совсем напротив, - улыбался Масленников, румянобелым низколобым лицом и закручивал усы в колечки. - В здешнем крае ожениться думаю... Потому эта кутерьма в России протянется, видать, еще с год. А тут предвидится эстоночка, Эльзой звать... И вот не угодно ли стишки...

- Братцы, слушай... Ты! Кравчук!

- А ну его к бисовой суке! - плакал хохол, сморкаясь и кривя губы. Ой, Горпынка моя... И кто тебя, ведьмину внучку, там, без меня, кохает...

- Брось, пей!.. Все кохают, кому не лень... Братцы, слушай! - Масленников вынул записную книжку, откинулся назад и в бок, прищурил левый глаз, стараясь придать лицу значительность. - Например, так... - он откашлялся, и начал высоким, с подвывом голосом, облизывая губы:

О, моя несравненная девица

Превосходная Эльза юница

Мы гуляли с вами по лесам

И по зеленым лугам

Ваши груди в аромате, как анис,

И любит вас старший писарь

Масленников Денис,

Чего и вам желаю.

- Какая же она юница, раз она вдова и ей под сорок? - глупый стишок! Никакой девицы в ней не усмотреть, - проговорил задирчивый, с маленькими усиками, питеряк Лычкин.

- Что-о?! - и Масленников сжал кулак. - А ты ейный пачпорт видал?!

Писаря ответили дружным ржаньем, даже слеза на хохлацком носу смешливо задрожала и упала в пиво.

- Все видали, все до одного!.. Ейный пачпорт...

- Даже читывали по многу раз...

- Даже после этих чтеньев я две недели в больнице пролежал. Не баба, а оса... Жалит, чорт!..

Началась ругань, потом сильный мордобой. Николай Ребров помнит, как он бросился разнимать, как его ударили по затылку и еще помнит чьи-то вошедшие в его мозг слова:

- А сестра Мария, слышать, обженихалась.

Глава VI

У поручика Баранова

Николай Ребров за два дня до Рождества зашел поздно вечером к ад'ютанту, поручику Баранову, снимавшему комнату у управляющего именем, эстонца Пукса. Его впустила маленькая женщина с сердитым ничтожным лицом.

- Погодить! Шляются тут. Тьфу!.. Тибла! - и удалилась.

Через минуту Николай Ребров стоял на вытяжку пред ад'ютантом.

- Что угодно? - сухо спросил поручик и приподнялся с кушетки. Он был в одном белье и шинели, в руках газета.

- А, это ты, Ребров? Садись.

- Мне бы хотелось, господин поручик, на праздник в отпуск. Дней на пять.

- Ладно, могу. А ты не удерешь.

- Что вы! Нет...

- А почему? - и поручик, быстро откинув голову назад, прищурился. Юноша мял в руках картуз. Поручик вздохнул и щелкнул рукой по газете: Вот!.. Плохо, брат... Парижская "Фигаро". Плохо пишут из деревни. Колчак бежит. Бежит!.. - он схватил валявшийся на полу сюртук, достал платок и громко высморкался. - Я не понимаю... Хоть убей не могу понять, чем они, дьяволы, берут?.. То-есть... Поразительно... Что?

- Да-а, - произнес юноша, - но я думаю, что большевикам не укрепиться.

- Ого! - желчно воскликнул поручик, торопливо шагая от стены к стене, шинель моталась, шелестя подкладкой и оборванная штрипка кальсон волочилась по полу. - Да еще как укрепятся-то. А штык-то на что? Они умеют править... Это тебе не Керенский, чтоб ему на мелком месте утонуть!

- Да-а, - опять произнес юноша. И вдруг с языка полезло. - А вы не знаете, господин поручик, аккуратно ли работает в Юрьеве почтамт?

- Что? - поручик на мгновение остановился, бессмысленно и как бы спросонья глядя на юношу. - Людей нет! Понимаешь ты, людей нет в России. Где люди? Ну, скажи. Где? - Он подскочил к юноше и, размахивая руками, кричал ему в лицо. - Где люди?! есть или нет? Что? Что?! - Николай Ребров попятился. - Гибнет все, - вдруг переменяв тон, тихо сказал поручик и с сокрушением закачал головою: - Гибнет... - Потом, волоча штрипку, он ушел за ширму, залпом выпил стакан вина, прикрикнул, сплюнул. - А ведь я римских классиков в подлиннике читаю! Речи Цицерона, всего Гомера! кричал он из-за ширмы. - Да и по естественным наукам запасец у меня большой. Я ведь когда-то к кафедре готовился. А теперь я что? Где мой отец? Где моя мать-старуха? Наверное, заложниками у большевиков. А где моя родина? Я и сам не знаю, где, - опять послышалось за ширмою, как булькает в стакане вино. Поручик крикнул, сплюнул и вышел, потрясая кулаками: - О чорт!.. Чорт!.. - Смуглые, крепкие щеки его тряслись, глаза прыгали. - Да, баста, баста!.. Теперь все кончено... И другой раз... вот взял бы это, - он схватил со стола револьвер, покачал им в воздухе и, бросив, махнул рукой: - Э-эх...

Он закрыл глаза, приложил ладонь к вспотевшему лбу и долго стоял с опущенной головой, покачиваясь. Потом быстро повернулся лицом к Николаю Реброву, вскинул голову и крепко спросил в упор:

- Ножов - большевик?.. Только откровенно...

- Я не знаю...

- Ты знал о его побеге?

- Никак нет. Но догадывался.

- Почему не донес?

- Виноват.

Поручик рывком выдвинул ящик письменного стола и, подбежав к юноше, ткнул ему в нос какими-то бумагами:

- Вот! Знакомы? В девятой роте... Носил? Читал?! Читал, спрашиваю я?! - заорал он. - Ты знаешь, мальчишка, что не сегодня-завтра будет приказ за пропаганду - петля?!

Николай Ребров вдруг почувствовал, как от его головы отхлынула вся кровь, он пошатнулся. Скрипнула дверь. Поручик запахнул полы шинели. В щель раздалось мышинное:

- Пожалуйста не кричить... Козьян не любит... Тихо! - и дверь захлопнулась.

Поручик что-то промычал, потом вынес из-за ширмы четверть вина, подал в руки юноше стакан:

- Держи, пей.

- Я, господин поручик, не пью...

- Что? - Он выпил сам, поставил четверть в угол и накрыл горлышко, как шапкой, опрокинутым стаканом. - Скажи, умоляю тебя... Не бойся... По чистой совести... Клянусь... Ну, как настроение наших солдат? Ведь мы же, в сущности, ни черта не знаем. Так, хвостики. Что они говорят, что думают? Нет ли заговора против господ офицеров? Одному нашему едва не перешибли ногу. Слышал? В окно генерала хватили кирпичом... Что же это? А? - поручик говорил быстро, задыхаясь и встряхивая головой, кисти рук играли то запахивая, то распахивая полы залитой вином шинели. - Говори, говори, не бойся... Умоляю... Что? Что?

Николай Ребров молчал. Губы его дрожали, и сквозь нежданные слезы дрожало все. Но он все-таки разглядел болезненно-скорбное выражение лица поручика, он почувствовал резкую смену его настроений, раздражительность и нервность. Да не сумасшедший ли перед ним, или только несчастный, потерявший под ногами почву, человек? Ему стало страшно и вместе с тем жалко поручика Баранова.

- Вы успокойтесь, - сказал он, - кажется, пока все обстоит благополучно. Вы очень устали.

Поручик Баранов, пошатываясь, подошел к столу, расслабленно сел в кресло и, схватив руками голову, облокотился. Николай Ребров тихонько пятился к двери, не сводя глаз с широкой, согнувшейся спины начальника.

- Я и сам не знаю, - говорил поручик, едва слышно, точно бредил. Может быть, Ножов прав, и все агитаторы правы. Может быть, правда там, за озером... Во всяком случае настоящие игроки у красных. Юденич хотел пройти в два хода в дамки, а теперь сидит здесь, в нужнике. Да... Чорт его знает. Но как же теперь я?.. Я - Баранов, боевой офицер? Как я отсюда вылезу? Юноша, ты слышишь? Писарь!.. - он повернулся, посмотрел на Николая Реброва и отдельно сказал: - Пошел вон. Завтра.

Глава VII

Человеческий квадрат и его диагонали

Канун Рождества. Николая Реброва вез эстонец за четыре фунта рису и фунт сахару. Был мороз. - Но, ти-ти! - пискливо покрикивал эстонец на шершавую клячку. - Я тебе - ти!

Что за неудача. Ни двоюродного брата, ни Павла Федосеича юноша не застал: куда-то уехали на праздник в гости. Он направился пешком к сестре Марии. Теплое, нежное чувство к ней ускоряло его шаги, и путь показался ему коротким. Вот они белые палаты из-за темных остроконечных елей. А вот и с голубыми ставнями белый одноэтажный милый дом. Сердце его

дрогнуло. Сестра Мария! Нет, это не она. Это какая-то старуха сидит на приступках в согбенной позе.

- А, здравствуйте, - сделал юноша под козырек. - Вы как здесь?

Помещица Проскурякова вздрогнула, выпрямила спину и наскоро отерла красные от слез глаза.

- Коля, вы?

- Я. Но почему вы-то здесь, Надежда Осиповна? И как будто плачете... Не случилось ли что?

- Нет, нет, ничего... Я очень счастлива, - поспешно воскликнула старуха, но лицо ее на мгновение исполосовалось отчаянием и вновь приняло приветливо-беспечный вид. Она сильно постарела, обмотанная той же клетчатой шалью голова ее тряслась. Заячий короткий душегрей и острые колени, обтянутые черной потрепанной юбочкой.

- Будьте добры, садитесь... Я очень очень счастлива, - заговорила она надтреснуто и фальшиво. - Вы не можете себе представить, сколько мы перенесли лишений и какой заботой окружил меня мой муж.

- А, кстати, где же он, ваш Дмитрий Панфилыч?

Юноша заметил, как концы ее губ в миг опустились, она попробовала весело улыбнуться, но получилась болезненно плаксивая гримаса и голова пуще затряслась.

- Ах, вы про Митю? Они сейчас придут... Они пошли прогуляться.

- Кто они?..

За стеною тяжелые, как гири, каблуки, и в открывшуюся дверь высунулась длинноволосая седая голова с дымящейся в морщинистом рту трубкой.

- Ага! Знакомый!.. Троф резать приходиль? - проговорил Ян тонким голосом и, шагнув, взял Николая Реброва за плечо. - Пойдем в дом... Здесь мороз... Как это... картофлю кушать будешь... картул... Кофей пить...

- А где сестра Мария?..

- Пойдем, пойдем... - Он ласково обнял юношу и повлек в дверь.

Тот недоуменно взглянул чрез плечо на старуху-помещицу, хотел ее тоже пригласить с собою, но Ян уже захлопнул дверь.

Вот она кисейная, белая с темным распятием комната. Вот изразцовая печь и знакомый широколобый кот на ней. И как-то по-родному все глянуло со стен и из углов. И сразу глаз нашел чужое: огромный сундук и чемодан. Впрочем, нет. Где же это он видал?

- Хи-хи-хи... - закатился, защурился старик и стал шептать в самое ухо юноше: - Про дочку? У-у-у... После праздник пулмад, как это... свадьба...

- Что вы, Ян? Неужели? - юноша даже откачнулся, внезапный холод передернул его плечи. - Сестра Мария? За кого же она? Что вы?

- Тсс... - пригрозил старик и, прищелкнув языком, таинственно, как заговорщик, зашептал: - Митри, мыйзник... помещик... ваш, русак... Старуху видал? Старуха толковал - жена... Митри толковал - любовня... Гони к свиньям!.. Не надо!.. Давай молодой... Давай Мария. А ты, - ткнул он юношу в грудь согнутым пальцем, - ты есть глуп, очень дурака. Ват саламбабапса... Бараний голофф...

- Почему?..

- Э-э... Дуррака... Баран... Святой девка упускайль... Он... как это... он плакал без тебя...

- Кто?

- Девка плакал, Мария... Много ваши руськи женились, оставался здесь. А ты зевал. Куррат... Мал тебе дом был? Плохой хозяйство? - Старик говорил, как брюзжал, не вынимая из зубов трубки. Те же синие короткие шаровары, те же полосатые с отворотами чулки плавно

двигались по комнате, а старые жилистые руки вынимали из резного шкафа посуду, сахар, хлеб.

Николай Ребров вдруг сорвался с места и выбежал на улицу: по дубовой аллее, развенчанной вьюгами, шла дочь старика.

- Сестра Мария! - протянул он ей обе руки.

Но та крепко и страстно обняла его и поцеловала в щеку. Она была обольстительно свежа. От нее пахло вьюжным снегом и черемухой.

- Знакомьтесь, - сказала она. - Это мой будущий... Ну... Это мой жених...

- Мы знакомы... Здравствуйте, Дмитрий Панфилович...

Муж старухи, насвистывая веселую, небрежно и молча подал широкую, как лопата, руку. Старуха все еще сидела на приступках. Она надвинула на лицо шаль и отвернулась. Мимо нее прошли, как мимо пустоты. И вместе со скрипом затворившейся двери, раздался ее глухой, тягучий стон.

Пили кофе. Николай Ребров и Дмитрий Панфилович, как коршун с ястребенком, исподлобья перестреливались взглядами. Сестра Мария придвинула им свинину.

- Мой старик. Мой грех... как это... свин... да, да, свинь кушать. Завтра, - говорил Ян, - мой сегодня картул кушать надо. Мари! Хапупийм...

Сестра Мария подала ему кислое молоко. Голубые глаза ее смущенно опущены и золотая брошь на полной груди подымалась и тонула, как в волне челнок.

- Завтра праздник, - жирно чавкая, сказал Дмитрий Панфилович. - У нас весело о празднике: посиделки, песни, плясы. Потом ряженые.

- У нас танцы, - сказала сестра Мария; и не своим не веселым голосом сказала Мария печально: - Лабаяла-вальц, вирумаге, полька. Говорят, спектакль будут ставить. Да, да.

- Где? - спросил Николай - Сестра Мария, где?

- Что? В народный дом... Только холедный, для летний игр, - она прятала от юноши глаза, вздыхала.

Разговор не клеился. Николаю было тяжело. У него накопало и против сестры Марии, и против Дмитрия Панфиловича.

- Сестра Мария мне спасла жизнь, - проговорил он тихо и вяло. - Может быть, напрасно...

- Что вы! Милый мой Коля, - и как в тот раз, она стала гладить его руку, но горячая рука ее дрожала, и вздрагивали опущенные веки.

Дмитрий Панфилович нервно задрыгал ногой, его сапог заскрипел под столом раздражающим скрипом.

- Очень плохо все кругом, - жаловался юноша. - Как-то все не то, не настоящее... Чорт его знает что. Другой раз хочется веселиться, другой раз - плакать. Гадость.

- Чепуха! Ничего худого нет, - грубо, задирчиво, сказал Дмитрий Панфилович. - Маруся, кофейку!

- Нет, не чепуха, - возразил юноша и его глаза засверкали. - Например, бросать жену на чужой стороне, беспомощную женщину, это чепуха?

- Не хочешь ли? Живи с ней сам. Уступаю, - низким голосом, ворчливо, насмешливо проговорил Дмитрий Панфилович.

- Не имею ни малейшего намерения. Во всяком случае, к чему же вы женились?

Стало тихо, Дмитрий Панфилович распрямил грудь, чтобы крикнуть. Раздался чей-то стон.

Все обернулись.

Прислонившись к чемоданам, в дальнем углу сидела помещица Проскурякова.

- Бог с тобой, Митя, - расхлябанно заговорила она. - Я тебя не виню... И вы успокойтесь, Коля, добрый мой. А Митя не виноват... Раз он счастлив с новой своей... с своей... - она обхватила седую трясущуюся голову руками и заплакала громко, злобно, надрывисто.

- Скоро ли ты уйдешь к чорту, старая корга?! - грохнул в стол кулаком Дмитрий Панфилыч, и его красивое, краснощекое лицо с раздвоившейся черненькой бородкой осатанело. - Здыхай на морозе, здыхай! Чорт тя задави! Не жалко.

- Я не позволяй крик!.. Митри, не надо горячиться! - перебивая его, крикнула сестра Мария.

- А, са куррат... - жуя трубку, выругался под нос Ян.

- Бог с ним... Бог с ним, - хлюпала помещица.

- Ага! - злобно смеялся ее муж. - Ты меня богатством хотела взять? Как же, старая помещица оженила на себе молодого парня. Тьфу, твое богатство, твое именье! У большевиков оно... Корова у тебя осталась от твоего богатства-то, да и та здохла.

- Сестра Мария! Ян!.. - ударил в стол и юноша. Губы его кривились, брови сдавили переносицу. Ему хотелось кричать громко, оскорбительно, но слова останавливались в горле. И он тихо, но прыгающим голосом сказал: Я не ожидал этого, сестра Мария. Я вас представлял себе другой. До свиданья, сестра Мария, - поклонился и порывисто вышел вон, ударившись в косяк плечом.

\* \* \*

Юноша переночевал в избушке лесника, старого добродушного эстонца. Утром он плотно подкрепился, заплатил эстонцу за гостеприимство и расспросил его про дорогу к Народному Дому. Путь лежал мимо сестры Марии и прямо в лес. Юноша шел низко опустив голову, ему не хотелось ни с кем встречаться. День был пасмурный, насыщенный изморозью. С грустным карканьем летали ленивые вороны, и юноше стало грустно, как только может быть грустно в праздник на чужбине.

- Послушайте, стойте! Николай!.. - Тревожно оглядываясь, бежала сестра Мария. Она схватила его руку двумя руками и с виноватой, просительной улыбкой сказала: - Какой вы злюк... Ай, как не хорошо...

Юноша смутился.

Он, краснея, растерянно мигал:

- Извините меня. Я, конечно, был вчера не прав. С горяча просто.

Сестра Мария померкла.

- Сгоряча? Значит вы прощаете мой поступок? - она с укоризной подняла на него ясные глаза. - Очень грустно, очень...

- Почему?

- Вы не понимает, почему? Когда-нибудь поймете.

- Так, - неопределенно сказал юноша: ему показалось, что сестра Мария фальшивит. - Я все-таки не могу понять.

- Ах, оставим, - капризно наморщила она свой тонкий прямой нос. Скажите, куда идете? В Народный Дом? Где вы ночеваль?

Они шли, но юноше казалось, что они стоят на месте, а две темные стены сосен спешат назад.

- Кто он? Вы знаете его? Этот Митри. Я его совсем не знаю, - и сестра Мария оглянулась.

- Странно, - сухо и насмешливо ответил юноша, - во всяком случае вам нужно бы его знать. Девчонка вы, что ли? Вы все оглядываетесь назад... Идите скорей. Он чертовски ревнив.

- Вы правы, - деланно проговорила она и остановилась. В глазах ее виноватость, злоба, скорбь. - До свиданья, Коля... А я вас... я вас, все-таки... Но вы не можете поверить... Ах, Коля, милый... Не так все, не так... Вы спешите? Да? Вечером увидимся. Я буду в Народный Дом. Но я ненавижу эту старую женщину. Ненавижу!..

Он быстро зашагал вперед. И спина его чувствовала неотрывный, молящий, пугающий взгляд Марии.

## Глава VIII

### Взрыв

Деревянное здание летнего Народного Дома стояло на поляне, среди густого сосняка. В нем никто не жил, по глубоким сугробам протоптаны свежие тропы, и люди с топорами в руках, весело пересмеиваясь, срывают с заколоченных окон доски. Всю ночь топились две временки, в доме густеет сизое угарное тепло. Сцену драпируют гирляндами из хвой. Зажигают несколько керосиновых ламп под потолком. Актеры в шубах, в шапках кончают репетицию. Разбитое стекло затыкают какой-то рванью.

Спускается вечер, солнце давно село, и бледная звезда зажглась. В лесу слышно дряблое пение хором и еще, в другом месте. Ближе, ближе. И вот с двух дорог подходят к дому две толпы молодежи, с красными флагами, с плакатами: "Елагу ватабус!". Приветствия, шутки, смех. Многие навеселе. Белобрысые лица праздничны. Голоса мужчин тонки и тягучи, как у скопцов, в движениях сдержанность, отсутствие бесшабашной удали и хулиганства. Все чинно, все прикалошено, причесано, в перчатках. Николай Ребров сравнил эту толпу эстонских поселян с своей родной, крестьянской, и сразу понял, что здесь России нет. А народ все прибывал, мужчины и женщины, пешие и конные, в крытых коврами маленьких повозках, с лентами в гривах низкорослых лошадей, с бубенцами под дугой. Стало темнеть. Желтые огнистые квадраты окон гляделись в мглу наступавшей ночи, западная часть неба над темным бархатом пихт и сосен стала голубеть, показался, раздвигая облака, двурогий месяц.

Николай Ребров взад-вперед прохаживался возле дома. Ждал кого? Нет. Народ - русские солдаты и эстонцы - проходили мимо него многоголосой вереницей, но он далек отсюда, он был в мечтах. И только два радостных голоса: - О, приятель! Пойдем! Чухны комедь ломают... - ненадолго возвратили его к действительности.

Он вошел и увидал то, о чем до боли сладко тосковала его душа. В его и только в его глазах - просторный, залитый яркими огнями зал. Посередине, под потолок, вся в блестящих погремушках, в звездах, рождественская русская елка. Нарядная толпа детей плывет в тихом изумительном танце, и все дрожит, колышется, мерцает. Юношу вдруг потянуло туда, под родную чудодейственную елку, в гущу сменяющихся беззаботных детских лиц. И он сам - не сам, он веселое дитя, и мать улыбается ему издали, машет рукой, зовет... Но вот что-то взорвалось: треск - грохот - крики - все сразу померкло, елка разлетелась в дым, и пред глазами - маленькая сцена с маленькими человечками, тысячи голов, аплодисменты, жалкий свет скупых огней, пред глазами все та же нищая, нагая явь.

Николай Ребров шумно выдохнул весь воздух, потрянул головой и, пробираясь между рядами, разочарованно опустился на свободный стул. Он сначала ощутил горячее дыхание на своей щеке, потом тихий захлебнувшийся шопот:

- Ах, как я рада... Я вам буду об'яснять... - И горячая затрепетавшая рука крепко легла на его колено. От руки шел неуловимый властный ток, и глаза юноши загорелись. Сестра Мария была в черном платье, рубиновые серьги блестели в ее маленьких порозовевших ушах. Она дышала прерывисто, опьяняя юношу запахом распустившейся черемухи. - Глядеть на сцена, шептала она, прижимаясь к нему плечом, но он разглядывал ее профиль с влажными, красивыми губами, и ему захотелось поцеловать ее.

- А где же Дмитрий Панфильтч? - прошептал он.

- Пьян. Нет... Ах, я ничего не знаю... - брови ее капризно дрогнули, она повернула к нему лицо, и вот два их взгляда как-то по-особому вмиг слились.

- Я не понимаю вас, Мария Яновна... - проговорил он, овладевая собой.

- Я тоже... не понимайть ничуть себя.

- Вы сначала, как будто хотели привлечь меня к себе, потом взяли, да и оттолкнули.



- Я скверная! - топнула она в пол острым каблуком. - Как глупо, глупо все вышло.

Раздались аплодисменты, и вдруг - в уши, в лицо, в сердце:

- Здравствуйте, Коля!

Голос был так неожиданно знаком, что Николай Ребров вздрогнул и приподнялся навстречу подошедшей девушке.

- Варвара Михайловна! Варя! Вы?! - И каким-то необычайным светом мгновенно загорелась вся его душа: - Варечка, милая! Вы живы?.. Получили ль вы мое письмо?

- Что с вами? Какое письмо? Пройдемтесь.

Юноша крепко закусил прыгавшие губы и шел за нею, как во сне.

- Вы живы, живы! - твердил он.

- А почему же мне не быть живой?.. А знаете? - И миловидное лицо ее вдруг померкло. - Знаете, Коля, милый?.. Ведь папа умер... да, да, да.

- Да что вы?! - искренне испугался юноша.

- Представьте, да... от тифа. Пойдемте, Коля, сядемте к столу, попьем чаю. Я так озябла. А вот и стол. Закажите. У меня деньги есть.

Возле буфета толчея, шум, выкрики:

- Сусловези! Кали!

- Сильмуд!..

- Напс!

- Эй, барышня! Дозвольте-ка мне шнапсу. Чего? Самый большой. - Масленников без передыху выпил стакан скверной водки и спешно чавкал пирожок с рыбой. Масленников выгодно спустил вчера казенные сапоги, денег на гулянку хватит.

Молодежь изрядно выпивала шнапс, пиво. Русские солдаты вели себя дерзко, вызывающе. Разговаривали между собой нарочно громко:

- Тьфу, ихняя камедь на собачьем наречии!

- А морды-то... Видали, братцы, какие у чухон морды? Вроде - непоймешь...

- Скобле-о-онные...

Длинноволосый, рыжий эстонец в зеленой куртке приплясывал, помахивая платком, и что-то гнусил. Но выражение его крепкощечкого бритого лица не соответствовало веселым ногам и жестам.

Солдаты с лицами заговорщиков толпой напирали на буфет. Продавщицы в ярких национальных костюмах кричали:

- Тише! Тише! Ярже трюшге!.. Осадить назад! Ну!!

- Я те осажу...

В полутемном углу рассыпался, как бубенчики по лестнице, женский смех, тотчас же заглушенный звонким поцелуем.

- Смачно, - прикрикнул Кравчук, проходя под ручку с толстобоклой мастодонтистой эстонкой. Он весь выгнулся дугой, склонив захмелевшую голову к плечу подруги. - Смачно, бисов сын, причмокнул... Ах, Луизочка... Я голосую, чтоб пойти в лесок... Право, ну... Трохи-трохи покохаемся, да и назад.

- Холодно, снег... Вуй!.. - встряхнула широкими плечами эстонка.

- Доведется трохи-трохи обогреть, - сказал хохол и облизал толстые губы.

В зале убого заиграла музыка, высокий барабанщик бил в барабан с остервенением, вприпрыжку.

Николай Ребров три раза бегал от буфета к столику, три раза заглядывал в зал, на сестру Марию: опустив голову и перебирая накиннутую на плечи шаль, сестра Мария сидела неподвижно.

- Кто с вами был? Красивая блондинка? Ваша любовница?

- Что вы, Варя!

- Ах, оставьте, не скромничайте... А я, знаете, все-таки чувствую себя не плохо. Вы знакомы с полковником Нефедовым? Ах, какой весельчак. И анекдоты, анекдоты! Вы бы только послушали. Со смеху можно умереть... Или князь Фугасов. Этакий молоденький, криволапый щенок. Конечно, со средствами. Всей компанией гулять ездим. На тройках, Колечка, с бубенцами... На русских тройках!.. Но почему вы повесили нос? Вы не рады мне.

Юноша нахмурил брови:

- Нет, очень рад... Но вы мне не сказали про вашу сестру.

- Ах, про Нину? - девушка тоже сдвинула брови, но сразу же захохотала неестественно и зло. - Нина в Юрьеве. Слушает какие-то курсы. По философии или педагогике, вообще - прозу... - Она замолкла, отхлебнула чай, вздохнула. Ее лицо было утомлено, помято, под глазами беспокойные тени. - Нет, не такое время теперь, Колечка, чтоб прозой заниматься. Надо жить! Сегодня жив, а завтра тебя не стало.

- Но в чем же жизнь? - с болью и страданием спросил Николай.

- Оставьте, бросьте! - замахала на него девушка. - Философия не к лицу вам. А вот в чем: музыка, веселые лица, смех, поцелуи. Вон - ваши солдатики толстушку под руки ведут.

Мимо них, в горячем споре, разнузданном смехе и пыхтенье, грязно протопала -гнулись половицы - тройка. Кравчук и Масленников волокли жирную полосатую эстонку к выходу. Эстонка, вырываясь, задорно хохотала и поворачивала запрокинутую голову то к одному, то к другому кавалеру.

- Какой упрям русски... Какой нетерпений!

- Пожалте, так сказать... Вот ваша шубка, не угодно ли! - И троица скрылась за дверью.

Рыжий эстонец в зеленой куртке, враз оборвав пляс, сунул трубку в карман и, блеснув глазами, сипло закричал:

- Ах, са куррат. Жену уводиль! Эй!.. Вийсид найзе! Тулерутту... - он выхватил нож, мстяще взмахнул им и побежал к выходу, ругаясь.

За ним топоча, как кони, эстонская молодежь.

- Убьют, - и Николай Ребров вскочил.

- Кого?

- Масленникова... Но что же мне делать?

- Ребята! Наших бьют!.. - кто-то крикнул с улицы, и русская матерная ругань прокатилась по буфету, как густая вонючая смола. И словно по команде, из буфета и зала, открывая двери лбами, помчались мимо юноши серые шинели.

А там, за стенами, на снегу, под лунным светом, уже зачиналась свалка. Юркие эстонцы кричали пронзительно, взмахивали руками нервно, быстро, с прискачкой, солдаты же работали кулаками, как тараном, метко, хлестко, основательно, и все крыли русским матом.

Меж деревьями пурхался в сугробах с ножом в руках, рыжий длинноволосый эст:

- Держи его! Держи, твой мать!! - визжал и ляскал он зубами.

Его помутившийся взор, взвинченный ревностью и шнапсом, видел перед собой двух бегущих солдат с женой, но впереди были: сосны, густые по голубому снегу тени, ночь.

Звенели стекла парадных дверей: дзинь - и в дребезги. Трещали запоры, стоял сплошной рев и давка: солдаты рвались из дома на помощь к своим, но стена эстонцев остервенело напирала с улицы:

- Насад!.. Насад!.. - Поршень упруго вдавился внутрь, и кучка солдат, окруженная густой толпой, приперта к стене, в буфете.

- Варя! Варя! - тщетно взывал Николай Ребров: его голос тонул в общем гаме.

На буфетную стойку, на окна вскопили молодые эстонцы в шляпах, пальто, калошах. Надорванной глоткой, потрясая кулаками, они бросали в толпу буянов призывы к порядку. Их бледные лица, исхлестанные гримасой гнева, были страшны, вскулаченные руки вот-вот оторвутся от плеч и заткнут оружие пасти. Но их никто не видел и не слышал: разгульный дебош клокотал и ширился, как лесной пожар.

Между стеной эстонцев и солдатами лежало небольшое пространство, и опасно было схватиться с русскими в рукопашную: раз'яренный вид солдат свиреп и лют, как у всплывших на дыбы медведей, в их захмелевших отчаянных руках сверкали ножи, угрожающе покачивали об откуда-то взявшиеся дубинки и массивные ножки от столов.

- А, ну, подойди, чухна! Много ль вас на фунт идет?!

- Не замай, картофельна республика! Брюхо вспорем!

- Чухны! Клячи! Полуверцы!!

И в ответ разрывались руганью сотни широких ртов, чрез толпу летели стулья и с треском грохались в стену, над головами приседавших солдат. Но кольцо все сжималось и сжималось, общий рев нарастал, передние ряды эстонцев, подпираемые сзади, оцетинили кулаки, как дикообраз иглы, скуластые лица их корчились от оскорблений и мужичьих плевков, звериное чувство кровью зажгло глаза, упруго согнуло колени, спины, вытянуло шеи, напрягло каждый нерв и мускул для последнего алчного прыжка. Еще маленько, какой-нибудь крик, какой-нибудь жест и...

И вот со свистом пронеслась по воздуху пивная бутылка и прямо солдату в лоб.

- Урра!!. - и все закружилось лешевым клубком.

- Бей их!.. Режь!..

Но в этот миг, когда клинки ножей убийственно сверкнули - вдруг неожиданно грянули громом, один за другим, три выстрела. И как ушат ледяной воды на сумасшедших - свалка замерла. И на виду у всех высоко поднялся над толпой детина-солдат. Он взгромоздился на стол серой бесформенной массой, как гора.

- А-а, едри вашу, черти!.. - с торжествующей угрозой зарычал он, как стоголовый лев.

Он был огромен, страшен, лохмат, словно таежный леший. Таких людей за границей нет. Неуклюжие, как салазки, вдрызг изношенные валенки, длинный, вывороченный вверх шерстью косматый тулуп, и рыжая, такая же косматая, с прилипшей соломой папаха, из-под которой выпирали меднокрасные подушки щек, круглый, как колено, подбородок и небывалые усищи, похожие на воловьи, загнутые вниз, рога. Большие, навывкате, глаза дерзко издевались над толпой, он чувствовал себя, как деревенский колдун среди темных баб, у которых страх отнял язык и разум.

Все это произошло в короткий миг, и мгновенное оцепенение толпы вдруг разразилось буйными криками:

- У него пюсс! Оружие! Вяля! Вяля! Долой его!.. Веди к офицеру!..

А сзади кричали русские:

- Чуланов! Стреляй их, сволочей!.. Стреляй!..

Верзила грохнул еще два раза из револьвера в потолок. Толпа, топоча каблуками, шумно откинулась прочь.

- А-а, не вкусно?! - хохотом заржал Чуланов и раскатисто рявкнул: Эй, наши!.. Убегай!.. Сей минут от ихнего дома и от всей чухны один дрызг останется!.. - В его руках высоко вскинутых над головою, смертоносно закруглились две большие бомбы. Толпа оцепенела, - помид... помид! - вросла в пол, и онемевшие взоры влипли в бомбы, как в магнит. От бомб струился смертный холод и какая-то неиз'яснимая роковая власть. - Молись, чухна, богу!.. Эх, и мне не жить... Прощай, белый свет! - Верзила, пыхтя и ворочая бычьими глазами, сунул из

правой руки бомбу за пазуху, перекрестился. - Пропадать, так пропадать, - быстро схватил обе бомбы в руки, подпрыгнул и...

По залу пронесся многоголосый вопль ужаса и, давя друг друга, толпа в ослепшем страхе бросилась к окнам и дверям. Треск, звяканье, неистовые крики женщин, вой мужчин... Взрыв бомбы слышали немногие, только те, которые упали в обморок. Слышала его и Варя: грохот, ослепительный огонь и тьма.

Верзила Чуланов еще не успел сползти со стола, как зал был пуст. Он зашагал вперевалку к буфету, заглянул вниз, куда были спрятаны закуски и, пошарив рукой, ущупал чей-то большой и холодный, как у собаки, нос.

- Вылезай, чего лежишь, - прохрипел он сдавленно.

Из-под стойки выполз Масленников:

- Сволочь, - сказал он. - До чего напугал...

Верзила шевельнул рогатыми усищами, снял папаху и отер взмокшее лицо подолом гимнастерки:

- Фу-у! - От чрезмерного напряжения он весь дрожал.

- Ты ошалел?! Где бомбы? Сволочь...

- Вот, - сказал верзила и бросил на пол два стеклянных, синих шара. В баронском саду снял, в фольварке... Дюже поглянулись.

Из разных потайных углов и закоулков выползала солдатня, у многих лица были в сплошных кровоподтеках. В выбитые окна клубами валил мороз.

- Пошарь-ка шнапсу... Да пожрать, - прохрипел верзила.

Из дверей освещенного опустевшего зала выглядывали кучки неподдавшихся панике людей.

А за стенами дома, на свежем, ядреном воздухе, под мягким лунным светом, толпа пришла в себя. Все сбились, как овцы, в кучу: женщины, молодежь, солдаты.

- Пьяный, анафема. Надо ему бучку дать... Это - Чуланов Мишка! - выкрикивал какой-то рыжеусый маленький солдатик.

- Такой скандал, чортов дьявол в благородном месте произвел, - кричал другой солдат.

- От такого ужасу не долго и в штаны... Будь он проклят...

Послышались бубенцы, песня, гиканье: к дому подкатили на двух тройках офицеры.

- Стоп! - и кучера-солдаты осадил лошадей.

- Что? Гуляете? С праздником, господа свободные эстонцы! А можно нам, так сказать, присовокупить себя? - И холеный, краснощекий в великолепных бакенбардах офицер занес из саней лакированную ногу.

И в сотню ртов загалдел народ: жалобы, угрозы, плач. Солдаты сорвались с мест и, подобрав полы, замелькали меж соснами, как зайцы, утекая.

Николай Ребров отпаивал Варю холодной водой:

- Это ж все было подстроено... Для озорства... Варечка, успокойтесь... Хотите, я вам кусок ветчины принесу?

Варя сидела на стуле, в дальнем углу буфета, она смеялась, плакала, целовала юноше руки, пугливо покашиваясь на шумную кучку пирующих солдат.

- Проведемте, ддрузья-а-а, эфту ночь виселе-е-й!! - орали Масленников и Чуланов, обняв друг друга за шеи и чокаясь стаканами.

На стойке закуски, выпивка. В разбитое окно лез с улицы Кравчук:

- Эге ж! - хрипел он простуженно. - Горилка?!. А ну, трохи-трохи мне. Дюже заколел. Бррр!

В дом ввалилась с парадного крыльца толпа. Впереди, блистая погонами и пуговицами,

быстро и четко шагали офицеры, серебряный звон шпор разносился на фоне шума, как на блюде. Солдаты вскочили, забыв про хмель. Кравчук схватил бутылку шнапсу и вывалился вниз головой обратно чрез окно на мороз, за ним загремел Чуланов с курицей и колбасой, за ним - в тяжком пыхтении - солдатня.

- Остановиться!.. Стой!.. Стой, мерзавцы!! - звенели голосом и шпорами величественные баки.

Трофим Егоров, с маленькой беленькой бородкой унтер, пьяно оборвался с окна, вскочил и стал во фронт. Длинные рукава его шинели тряслись, правое плечо приподнято, глаза с испугом таращились на подходившего офицера. Толпа притихла, как в церкви. Николай Ребров дрожал. Шаги офицера ускорялись, - быстрее, быстрее, - и офицерский кулак ударил солдата в ухо. Трофим Егоров покачнулся. Офицер ударил еще. Егоров упал.

- Билет! - приказал офицер.

Николай Ребров, забыв про Варю, заметался.

Солдат пошарил в обшлагае и подал бумажку, следя за кулаком и глазами офицера.

- Ты! Скот! За билетом явиться ко мне на квартиру. Направо! Шагом марш!

Николай Ребров, не попадая зуб на зуб, прыгающим голосом резко крикнул:

- Не имеете права драться! Я донесу! - Он, юркнув в зрительный зал, смешался с толпой и стал продираться к выходу.

- Что-о? Кто это?.. Какая сволочь?! - раскатывалось издали. - И вы все сволочи... Чего стоите? Ха-ха! Гостеприимство?.. Подумаешь, какая честь... Молчать, когда офицер русской службы говорит!..

Николай Ребров, выбившись к двери, оглянулся. Бакенбардист- офицер, ротмистр Белявский кричал на толпу вдруг запротестовавших эстонцев и при каждом выкрике яростно ударял себя по лакированному голенищу хлыстом.

- Эстонская республика... Ха-ха!.. Великая держава... Да наш любой солдат, ежели его кашей накормить, сядет, крякнет, вашу республику и не найти... Не правда ли, господа офицеры?..

В ответ раздался золотопогонный смех. Толпа оскорбленно зашумела.

- Господин офицер! - вышел вперед высокий жилистый эстонец. На рукаве его пальто был красный бант. - Я вас буду призываю к порядку.

- Молчать! Ты кто такой? Коммунист? Товарищ? А хлыстом по харе хочешь? Научись по-русски говорить, картофельное брюхо, чухна!

- Господин офицер!

- Призывай к порядку свое правительство! - провизжал молоденький, как херувимчик, офицер.

- Да, да, - подхватил бакенбардист. - Где ваша чухонская поддержка войскам генерала Юденича? Изменники!.. Если бы не ваша измена, русские большевики давно бы качались на фонарных столбах... Подлецы вы со своим главнокомандующим! С Лайдонером!..

- Замолчить!.. Будем жаловаться генерал Верховский!.. Коллективно. Нехороший вы народ!

Бакенбардист с поднятым хлыстом и офицеры бросились на говорившего, но толпа грудью стала на его защиту:

- Уходить! Вы не гость нам!.. Для простой народ!.. Ваш мест не здесь! Вяля, вяля!..

А офицеры, повернувшись спиной к толпе, вдруг заметили Варю, еле сидевшую на стуле и готовую упасть в обморок.

- Ах! Вы? Варвара Михайловна? Варя?.. Как вы здесь?.. Ведь это ж кабак... Это ж хлев!..

- О, богиня, - привстав на одно колено, послал ей воздушный поцелуй юный купидон.

- Едем!

Николай Ребров, взбудораженный и потрясенный, шагал через лес и голубую ночь, не зная сам, куда.

- Ребров, ты?

- Я... А-а, Егоров.

- Как мне с билетом быть?..

- Наплюй.

- Чего?

- Наплюй, мол. Приходи в канцелярию я тебе новый выпишу.

- Чего?.. Кричи громче: не слышу... Ох, дьявол, как он по уху порснул мне... Однако оглох я, парень, - уныло, подавленно проговорил Трофим Егоров, затряс головой и засморкался. - Ну, и кулачище...

Их настигали бубенцы. Пешеходы свернули с голубой дороги в тень. Одна за другой промчались тройки. С передней пьяно, разухабисто и разноголосо несло визгливое:

Гайда, тройка! Снег пушистый,

Ночь морозная кругом...

Па дарожке серебристой...

- Варя! До свиданья!! - не утерпев, желчно крикнул юноша.

Глава IX

"Адью, адью". Его превосходительство

Святки закончились печально. Трофим Егоров, Масленников и еще пятеро нижних чинов, по доносу администрации Народного Дома, были арестованы. Среди солдат поднялся ропот, сначала тихо, невидимкой, крадучись, как подземные ручьи, потом громче, шире, и вот, чуть ли не на глазах у офицеров, во дворах, чайных или просто, где попало, стали собираться митинги.

А эпидемия брюшного тифа крепла. Тиф валил солдат и начал подбираться к офицерам. Развернулись два русских лазарета, правда, плохо оборудованных и грязных. Открыл свои действия и великолепный лазарет Американского красного креста. Он предназначался для офицеров и чистой публики. Одним из первых лег туда ад'ютант, поручик Баранов. Последнее время он недомогал и на службу частенько приходил выпивши.

- Поручик, что за причина?

- Откровенно вам, генерал, скажу: совесть.

Его отвозил в лазарет Николай Ребров. Простые эстонские сани, на дне солома. Укутанный шубами, поручик бредил. Из его слов ничего нельзя было связать, - тусклые, серые - лишь одно слово пламенело - Россия. - До лазарета десять верст. Бритый, с лисьими глазами эстонец, пискливо заговорил с Николаем Ребровым.

- А ваши бегут домой. Эта проста.

- Как?

- Мой возит. На Пейпус, ночь. А там беги поскорей.

- Где живешь?

- Хе! Хитрый, - подмигнул эстонец и засмеялся в рукав тулупа.

- Не ты ли к Ножову в окно стучал?

- Мой. Ножов там, в Русь. Двенадцать солдат тоже бежал с Ножов. Много народ бежал. Тыща. Я твой брат знай, твой брат меня знай. Я всей знай.

- Ну, а как в России, не слышать?

- В Росси-и-и, - протянул он и прищелкнул языком. - Роду-няру, дрянь... Собак кушают. Клеб нет... Гнилой картул.

Лазарет поразил Николая Реброва: все горит, белеет, блещет. На столиках, против каждого больного, букет цветов из оранжереи и приемная зимний сад из пальм.

На все это юноша смотрел сквозь стекла двери, внутрь его не пустили, и ему не пришлось как следует проститься с поручиком Барановым.

Домой он вернулся поздно ночью. Настроение скверное, подавленное: было очень жаль Варю, жаль самого себя и поручика Баранова. Он понимал, что Варя гибнет и что под его собственными ногами почва превращается в болото. В ком же искать поддержку? Ножов бежал, поручик Баранов наверное умрет, сестра Мария принадлежит другому. Вот разве Павел Федосеич: мысли его ближе и роднее юноше, чем мысли брата.

\* \* \*

Из восьми писарей ночевали дома только четверо. А где же остальные? Но Николаю Реброву ужасно хотелось спать.

Утром, оправляя постель, он нашел под подушкой письмо в конверте за сургучной казенной печатью. Вскрыл. Размашистым кудрявым, как дикий хмель, почерком было выведено:

Коля, другъ, прощай навеки,

Может - на всегда

Я и прочьи человеки... Следующая строчка письма зачеркнута и дальше - проза:

"Мы съ товарищами бежимъ, милый Коля, старайся и ты утечь. Очень ужъ стосковался я по родине. А въ Эльзе полное разочарованіе произошло, она вроде беременная, ссылаясь на меня. Я же сомневаюсь. Во всяком случае навести ее и утешь, а полотенце мое и мыльница мильхиоровое отбери, взявъ себе на память обо мне и Николае Масленниковомъ. Его превосходительству низкій приветъ съ кисточкой. Адью, адью".

У Николая Реброва задрожали руки и что-то неясно, но настойчиво скользнуло в душе: вот бы. Он сорвал с храпевшего Онисима Кравчука одеяло и ткнул его кулаком в бок:

- Вставай! Слышишь?!

Кравчук сел и таращил сонные, опухшие глаза. Белье его было невероятно грязно и засалено, как и он сам.

- Когда они бежали? - спросил Ребров.

Кравчук достал из-под кровати кусок шпику, сдул с него пыль и стал рвать зубами. Он чавкал с наслаждением, закрыв глаза и покачиваясь. Широкая грудь его была вся в шерсти, поблескивал серебряный крестик.

- Кравчук, слышишь?! Когда Масленников бежал?

Хохол открыл узенькие глазки и сказал:

- А ну, хлопче, пошукай трохи-трохи хлеба.

Николай Ребров плюнул и поспешно надел шинель - было десять часов. Кравчук вновь повалился на кровать.

В канцелярии уже сидели три писаря. За дверью слышались неверные шаги генерала и злобное кряканье. Писаря совещались, как быть.

Решили о побеге генералу не докладывать.

А вот и... Все вытянулись. Генерал опирался на палку. Лицо его за эти сутки постарело на целый год. Он сердито застучал палкой в пол и зажевал губами, прищуренные глаза его подслеповато бегали от стола к столу.

- Где люди? Я спрашиваю: где люди?!

- Не можем знать, ваше превосходительство. Они не ночевали... Кравчук болен.

Палка застучала в пол сильнее, правое плечо в золотом погоне с вензелем приподнялось.

- Арестовать! Арестовать мерзавцев!! - крикнул он так, что все попятнулись. - Ты! Писарь! Иди ко мне! - Прихрамывая и встряхивая головой, но стараясь держаться прямо, он кособоко скрылся в кабинете, за ним и Николай Ребров. - Вот приказ о назначении ротмистра Белявского. Немедленно отправить. Комнату ад'ютанта Баранова запечатать казенной печатью. Хорошо ли

его устроил? Где печать? - он провел взглядом по столу. - Где печать?! - выдвинул ящик, другой, третий. - Печать!!!

Писаря бросились искать пропажу. Все перевертывали вверх дном, перетряхивали, пуская пыль. Подошедший в суматохе Кравчук тоже стал ползать под столами на корточках, шарить шомполом под шкафом, заглядывать в печку, в закоулки и когда генерал, грозя всех отдать под суд, вышел на улицу, Кравчук обтер об штаны пыльные руки и простодушно спросил под общий смех:

- А чего, хлопцы, мы ищем-то?

- Идиот, дурак, - весело ответил низенький, похожий на мальчишку писарек Илюшин. - Печать пропала, печать!

- Какая, казенная? - опять спросил хохол. - Да ее ж Масленников на память узяв.

\* \* \*

Генерал раза два прошелся по аллее. Левая нога его дрейфила и было тесно дышать. Он останавливался, прикладывал руку к груди и ловил воздух ртом, животный страх расширял и суживал его глаза.

- Скверно, - говорил он самому себе. - Астма. Дьявол их заberi с ихней революцией. Сидел бы теперь в Крыму, в своей дачке. Нечего сказать, в хорошенькой обстановочке околевать приходится.

Он круто повернулся, хотел разнести пробежавшего солдата, который не отдал ему честь, но в это время:

- Генерал, пожалуйста кофе кушать! Баронесса ждет.

- А-а. Так-так... Сейчас, - сказал он свежей, в белом чепце и фартуке молоденькой горничной. - Слушайте, Нелли... А вы, того... Вы возьмите меня под руку. И пожалуйста поласковой со мной, поласковой... Я так одинок... Слушайте, Нелли... Вы простудитесь. Огонь вы... От ваших щек пышет жаром. И эта грудь... Ах, Нелли!.. Вот возьмите золотой, наш, царский. Пожалуйста, пожалуйста. Я так несчастен, Нелли, так скучаю. Я очень долго по ночам не сплю... И вы... того... Не можете ль вы, Нелли-шалунья, приходите ко мне читать? Читать, хе-хе-хе - читать... И ничего более...

- Какой вы шутники очень...

- Вы думаете? О, да... Мы все шутники... Хе-хе-хе. А вот и лестница. Мы все шутники, все! - Бритый подбородок генерала чуть дрогнул и что-то засвербило в носу - Ба-а-льшие шутники... Да, да... - Генерал вздохнул и зашагал по лестнице, пристукивая палкой.

- Вы по ночам разговаривайте, - сказала Нелли, поддерживая генерала под локоть. - С кем вы говорить?

- С богом... Молюсь. Мне единственное осталось утешение - молитва. Да, да, не улыбайтесь, Нелли... Молитва. - Подбородок его задрожал сильнее, глаза заволокло слезами, но генерал крикнул, выпрямился и, отворив дверь, бодро пошел чрез коридор в столовую.

- Бон жур, женераль, - поднялась ему навстречу краснощекая баронесса в гофрированном светлом парике.

- Бон жур, мадам! Бон жур! - и, щелкнув шпорами, он поцеловал выхоленную, в бриллиантах, маленькую руку.

- Садитесь, генерал. Пожалуйста, в кресло, в кресло. Мимишка, тубо! Ну, как вы себя чувствуете, генерал? Вообще как дела?

Сидевшая на подушке Мимишка, пристально глядя на старика, наклонила лохматую головку влево.

- Благодарю вас, чувствую себя прескверно, - вздохнул генерал, наливая в кофе густые сливки, - так чувствует дышающий в конуре старый пес, простите за сравнение.



Мимишка еще пристальной уставилась на генерала и наклонила головку вправо.

- Что вы, к чему такой пессимизм!.. А правда, вы за последнее время очень изменились, очень... Вам бы отдохнуть. Ну, а как ваша семья?.. Давно не получали известий?

- Париж молчит... Плохо им там. Ведь мы же все почти оставили в России. А за граница денежки любит, денежки...

Баронесса ласково округлила подведенные глаза и задала вопрос:

- Ну, скажите, генерал, а как же дела вашей армии?.. Вообще, какие ж ваши планы в дальнейшем?..

- Плохи, - сказал генерал, пожевав губами. - О всем же прочем позвольте, баронесса, умолчать...

- Пардон... Конечно, конечно... - она досадно двинула локтями и бедрами. - Вот не угодно ли торта, с цукатом. Вы любите? А знаете, я чем угощу вас? Сейчас, сейчас... - и она нажала кнопку. - Нелли, подайте землянику и сливок добавьте в кувшин, - и обращаясь к генералу: - свежая, ваше превосходительство, только что с кустов, сама брала...

Генерал, опустив голову, часто мигал и чертил ложкой на скатерти квадратики. На коротко остриженной седой голове его блестела лысина, и вся фигура его с подергивающимися позлащенными плечами была несчастна. Мимишка с грустью смотрела на старика, и ее собачьи глаза покрылись влагой.

- Генерал, ваше превосходительство, - задушевно и тихо произнесла баронесса. - Ну, будет вам... Ну, расскажите мне что-нибудь веселенькое.

Генерал поднял смущенное, старое, как стоптанный сапог, лицо, взглянул на баронессу и, быстро отвернувшись, выхватил из кармана платок.

- Если б... если б... не вы... баронесса... - прерывистым шопотом начал он, затряс головой и уткнулся в платок.

- Ваше превосходительство... милый...

Генерал шумно высморкался и крикнул вдруг:

- Черти! Пардон, пардон... Тысячу раз пардон... Представьте, баронесса, они, черти, украли казенную печать!.. Бегут, бегут, бегут... Куда бегут, зачем?..

\* \* \*

Печать, действительно, не отыскалась.

Вечером, при закрытых дверях, ротмистр Белявский вел разговор с генералом.

- Вы, ротмистр, слышали?

- О, да.

- Я совершенно сбился в ситуации событий: и прошлых, и в особенности будущих. А то, что совершается теперь...

- Разрешите, ваше превосходительство, пояснить, насколько я, так сказать...

- Пожалуйста, пожалуйста.

Генерал развалился с ногами на кушетке:

- Извините, ротмистр, но за последние дни я так... я так...

Ротмистр же сел на круглый табурет, как журавль на кочку. Он вынул платок, встряхнул его - запахло любимыми духами баронессы "Dolce Mia" и высморкался.

- Вот в чем дело, - начал он, - придется, фигурально выражаясь, танцевать от печки, от Бермонда. Я, конечно, ваше превосходительство, ничуть не претендую на непогрешимость, так сказать, своих...

- Я, ротмистр, слушаю.

- Пардон... Конечно, история со временем выяснит, ваше превосходительство, все те махинации союзников и немцев, все те явные и скрытые рычаги, всю ту закулисную карусель и

неразбериху, которая...

- Кха!! - кашлянул, точно выругался генерал.

- Пардон, пардон, - звякнул ротмистр шпорами. - Во-первых, где корень наших неудач? В полковнике Бермонде. Неоспоримо. Этот неспособный тщеславный человечек вдруг вообразил себя Наполеоном и заявил, что он может выбить большевиков из Риги только во главе собственной западной армии, русской, конечно.

- Нахал! - прошипел генерал и швырнул окурочек.

- Да. А германцам, в особенности графу Гольцу, это на руку: ах, пожалуйста, действуйте... И вы понимаете, ваше превосходительство, как этот самый Бермонд (он же князь Авалов, самозванный, конечно) отказался явиться к Юденичу, когда тот вызывал его? И вышло так, что Юденич, вместо того чтоб соединиться с силами Бермонда, предпринял наступление на Петроград один. А Бермонд двинулся на Ригу. Значит, силы разбились. И совершенно резонно Юденич объявил Бермонда изменником русского дела. И все это разыгралось под германскую дудочку графа Гольца: дернул граф нитку - Юденич на Питер двинулся, дернул другую - Бермонд в противоположную сторону пошел, на Ригу, дернул третью нитку - английский флот, вместо обстрела Кронштадта и Красной Горки, т.-е. вместо помощи Юденичу, направился в воды Рижского залива. А почему? Да очень просто, ваше превосходительство: германскому командованию важно было, чтоб наступление Юденича не удалось: освобождение Петрограда от красных банд с помощью союзников обозначало бы что? А то, что союзники укрепили бы этим самым свое влияние на русские дела и, конечно, имели бы не последний, если не первый голос в организации будущего правительства России.

- Подлецы... Мерзавцы...

- Но ведь вы, ваше превосходительство, насколько я осведомлен... Ведь ваша ориентация была...

- Что? Вы кончили?

- А во-вторых, - прищурил ротмистр левый глаз, - командный состав нашей армии...

- Что? Командный состав был плох? Вы кончили? - поднялся генерал и, загребая ногою, стал шагать по комнате. - А знаете что, ротмистр? Вы, простите, ничего нового, оригинального не сообщили мне. Я - боевой генерал и эту жвачку прекрасно знал и без вас. Поверьте. Вы кончили? Покойной ночи, ротмистр...

- Покойной ночи, ваше превосходительство... А что касается грядущих событий...

- Покойной ночи!

- Покойной ночи, ваше превосходительство...

- Покойной...

Ротмистр Белявский, поклонник вдовой баронессы, ночевал у нее в доме. Его комната, куда он завтра переселяется на жительство, рядом с ее спальней. Генерал же помещается в дальнем конце коридора. Он скучал эту ночь особенно сильно. Молился один, одинокий. И Нелли не пришла к нему. Николай Ребров тоже спал очень тревожно. Боролся во сне с каким-то чудовищами, кричал, стонал. В него вползала болезнь и, одуряя кровь, растекалась по всему телу.

Глава X

Из сна в сон и в пробуждение

Прошло сколько-то суток, или ночей, или, может быть, минут, - раз, два, три, четыре, - Николай Ребров не может отчетливо и ясно себе представить: шум, туман, движенья - и все, как сон - знакомое лицо с холеными баками. Ага! Да это ж ротмистр Белявский, его начальник.

- Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Рад стараться!.. - И бежит, бежит, какие-то подшивает бумажки к делу, пишет, нумерует, раз, два, три... четыре...

И много, много лиц, канцелярия едва вмещает: солдаты, офицеры, военные чиновники, санитары, женщины... Деньги, деньги, деньги...

Армию предположено распустить. Заготавливаются ликвидационные ведомости, вороха бумаг, горы бумаг, - чорт! - в них можно утонуть. А голова горит, и сердце стучит болезненно...

И вечером, при свете зеленых ламп, а может быть при зимнем блеклом солнце:

- Твое лицо мне знакомо... Где ж я тебя видал?

- Не могу знать, ваше высокоблагородие.

Теперь Николаю Реброву все равно: рождественская ночь, театр, скандал: пусть сажают в тюрьму, пусть казнят. И он той же фразой, как и там, при Варе: - Не имеете права драться! Позор! - Но он очевидно крикнул в душе, беззвучно, потому что ротмистр Белявский не ударил его по лицу, не сшиб на пол, не топчет ногами. Ротмистр Белявский, улыбаясь и насвистывая веселую песенку, прозвякал от стола к столу, к шкафу, к генералу, к двери, в ночь. И там, в ночи, возле спальни шикарной баронессы, в ее спальне, там... Ах, ротмистр Белявский, какой вы подлец... Варя, Варя...

\* \* \*

Николаю Реброву сдаваться не хотелось. Он все еще держался на ногах. Свалиться тифом - значит умереть. Он через силу ходил в канцелярию, через силу занимался делом, переписывал ликвидационную ведомость, ему казалось иногда, что в его руках вместо пера большая трость, и он макает ее в прорубь.

- Развесь... Только аккуратно... По пяти гран. - Он не знает и не хочется ему знать, кто произнес эти слова, он ощупью и сонно, как слепой, стал исполнять приказание. У него нет уверенности, что он делает правильно и точно: то ему представится, что крошечная гирька из равновеса целый фунт, то белый порошок вдруг превратится в зеленый, потом в розовый, и еще казалось, что это руки не его, чужие, и он сам чужой, не настоящий, что его здесь нет и, вообще, его нет нигде. А кто же такой он? Я - Николай Ребров, - утверждал он свое бытие и настойчиво приказывал себе: - Вешай вернее. Это же лекарство, лекарство... Пять гран... Перевесь, проверь. - И в голову, в самое темя, болезненно раздвигая волосы, удар за ударом вгоняют железный клин. Нет сил крикнуть, уйти, нет сил остановить эту пытку, все тело горит и телу холодно, кто-то каплю за каплей льет на позвоночник ледяную воду. Хочется потянуться еще и еще раз, хочется зевнуть, но все тело заключено в железную душную печь, как в корсет, трудно дышать, вот все задвигалось, зашуршало как осенний, в бурю, лист, - столы, люди, лампы, - все приподнялось вверх и, вместе с Николаем Ребровым, шумно упало на пол.

\* \* \*

Вместе с Николаем Ребровым на двух подводах везли целую партию больных. Юноша, закутанный в одеяло, дрожал, но все происходящее было для него понятно. Дорога знакомая. Вот гора. Где-то вблизи живет сестра Мария, - Мария!.. - Так проскользнуло в мыслях и погасло. Не хотелось ни о чем вспоминать, не хотелось думать. Скорей бы. Зачем остановились? Крутая гора. Бело кругом и не видать цветистых трав. Остались лежать только тяжело больные, замученные бредом. Николая Реброва вели в гору двое. Он старался вырваться и убежать, голова тяжелой гирей запрокидывалась назад, а потерявшие упругость ноги деревянно шагали сами по себе, опережая тело.

Дышать трудно, тесно.

- Уберите волосы! Остригите! Больно!.. - кричал он громко, и от этого крика прекращавшееся дыхание его возобновлялось.

В борьбе и крике истек весь путь. И снова та же грязная солома, тот же коридор-колодец и лампочки с резким раздражающим светом. Весь воздух густо набит криком, стонами. Сотни брошенных на солому тел плотно вымостили весь пол бесконечного коридора. Одержимые

бредом люди ворочались, вскакивали, валились вновь, переползали с места на место, как пьяные.

- Я царь, я бог! Я царь, я бог! - безостановочно и дико, ударяя кулаком по воздуху, выкрикивал сидящий у стены безумный. - Кланяйтесь мне! Я царь, я бог, я царь, я бог!.. - Это был черный, лохматый с горящими глазами человек...

"Неужели он... как его... воззвания, газеты? Ножов?.. Нет, не он... Отец Илья, священник?" - На мгновение прояснилось в памяти юноши и вновь все поплыло и потускнело. Скорей бы. Но вот ясно и очень близко, там, в том далеком-далеком конце, близко, двое, а может быть и больше, в белом, двое: мужчина и женщина. Сестра Мария? Да.

- Сестра Мария... Сестра Мария. Скорей! Умираю...

- Я царь, я бог, я царь, я бог!.. Кланяйтесь, кланяйтесь владыке! Я царь, я бог!.. Я царь, я бог!..

- Молчи, жид! - и больной сосед ударил безумца по лицу.

- А-а-ах!!

И там, очень близко, но очень далеко, ползут за сестрой Марией на карачках, хватают ее за одежду: - Помоги-и!.. Помоги-и-и... К нам!.. Ко мне!.. - Но она быстро пересекает пространство, за нею люди в белом с носилками и фонарями. Их много. - Этого, еще вот этого, - указывает сестра Мария, но голос не ее, и по ее приказу поднимают, куда-то несут больных. Она идет быстро, зорко всматривается черными глазами в лица умирающих и...

- А где же сестра Мария? - и Николай Ребров приподнялся на локтях.

- Вы откуда? Где служили? Фамилия? Когда вас привезли? Санитары! В палату номер 5... - приказала она быстрым голосом и жестом.

\* \* \*

Большой, шероховатый, страшный, трескучий сон, длинный-длинный, вместивший в себе всю жизнь. И безумно хотелось жить, ну хотя бы день, ну час, но смерть надвигалась. Тогда в Николае Реброве кто-то сказал "все равно". И еще тянулись годы и мгновения. Они проплывали в белых мелькающих крыльях, в призраках, и белые крылья плыли в них, мелькая.

Но вот Николай Ребров впервые открыл глаза в солнце, в жизнь. Солнце било сквозь тонкие шторы, и через дырочку на шторе солнечный луч ударил юношу в левый глаз. В глазу, в другом, в голове, в сердце загорелось от этого луча настоящая радостная жизнь и бодрящими токами властно застучала во все концы, во все закоулки бесконечного молодого тела.

Николай Ребров закрыл глаза, но тотчас же открыл их и кому-то улыбнулся.

- Ну, как? - подмигнул и тоже улыбнулся черный, словно грек, длинноусый штабс-ротмистр Дешевой.

Он, с лысым пожилым человеком, у которого - сухое, голое, треугольное лицо с тонкими вялыми губами, играл в шашки.

- А-а! Поздравляю... - кивнул головой и лысый, запахивая большой рыжего цвета халат.

- Здравствуйте, господа, - попробовал Николай Ребров свой голос. Голос звучал плохо. - Что, в шашки?

- В шашки, - ответил черный, пучеглазый. - Ну, как, не тянет на еду?

- Поел бы, - сказал юноша, облизнув губы.

Тогда оба игрока весело засмеялись.

- Ну, слава богу!.. Это хорошо, - сказали они. - Значит, смертию смерть поправ...

Юноша выбросил из-под одеяла руки, схлестнул их в замок и сладко потянулся. Маленькая, в два окна светлая комната, под потолком - чернеет распятие, и в белом, с красным крестом на груди, вошла сестра. Она повела соколиными в крутых бровях глазами и приблизилась к юноше. Она пожилая, с измученным лицом, но глаза ее блестят, и голос ласков:

- Ну, вот, слава богу, Ребров. Отводились. Сейчас врач придет. Поставьте, пожалуйста, градусник... А мне в пору самой слечь. Больных масса, и ужасно плохо поправляются...

- Много умирают? - спросил пучеглазый Дешевой.

- Пачками. Несчастные наши солдаты. Ухода никакого почти нет, лекарств нет, питание скверное... Я просто сбилась с ног, за эти две недели сплю по два часа.

- Сестрица, хорошо бы чего-нибудь питательного, а то - похлебка, каша, похлебка, каша, кисель.

- Но почему ж не воспользуются услугами солдат? - спросил лысый.

- Я ж вам говорила, господа, что кредиты прекращены, и мы существуем на пожертвования. Только за рытье одних могил мы задолжали эстонцам более трех тысяч марок.

- А где их взять? - подняла сестра брови и пожала плечами. - Одни убежали к большевикам, другие разбрелись по мызам, по фольваркам, третьих тиф свалил.

\* \* \*

Два его товарища - офицеры - оказались интересными людьми. Лысый, пожилой, во время японской войны, будучи юношей, попал в плен, женился в Токио на японке, но жена умерла от родов. Он знает японский и английский языки и теперь, добыв какими-то путями самоучитель Туссена, учится по-французски.

- Пригодится, - говорит он тягучим голосом. - Во Франции наши лакеями служат, ну вот и я готовлю себя в шестерки. Вот, не угодно ли, "Атала" Шатобриана долбить... С больной-то головой.

- Занятие для офицера подходящее, - раскатился громким болезненным хохотом штабс-ротмистр Дешевой, длинные усы его трагически тряслись.

- А что ж такое! Вы из дворян, а я мужик. Я всякий труд люблю, - обиделся лысый, и голое, треугольное лицо его метнулось к Дешевому. - И потом, знаете, какая мечта у меня за последнее время? Вот за время болезни... Вы знаете, что когда душу и тело связывает лишь тонкая ниточка нашей грубой земной жизни...

- Метафизика... - отмахнулся пучеглазый Дешевой - Инфра-мир, супра-мир, астрал... Чепуха в квадрате... Тьфу!

- Ну хорошо, хорошо, не буду! - и углы рта лысого офицера повисли.

- Нет, пожалуйста, это интересно, - нетерпеливо проговорил Николай Ребров.

Лысый с готовностью подсел к нему на кровать и сказал:

- Благодарю вас... Хотя вы еще очень молоды... И, конечно, вам это будет непонятно. Так вот я и говорю... Когда бог благословит вернуться на родину, уйду в монастырь, в затвор.

- Предварительно омолодившись в Париже, - насмешливо прибавил черный и сердито запахнул халат. - Молодым старцам в монастырях лафа.

- А вы, Дешевой, про оптинских старцев слышали? - через плечо задирчиво спросил лысый.

- Я монашенок знаю. Одна, сестра Анастасия, два раза в неделю приходила ко мне белье чинить. Потом забеременела, и ее выгнали из монастыря.

- Циник, - втянул голову в плечи лысый и, обхватив локти ладонями, сгорбился.

- Лучше быть циником, чем святошей и ханжей.

- Ах, оставьте!.. А вот и суп...

- Ура! С курицей!.. - закричал Дешевой, и оба с лысым бросились целовать руки сестре Дарье Кузьминишне.

\* \* \*

Николай Ребров худ и желт, как еловая доска, у него непомерный аппетит, он проел новый шарф, рубашку и теперь проедает серебряные часы. Под подушкой у него двадцать франков. Это - капитал. Дарья Кузьминишна ему как мать. Она очень строга, предписания врача исполняет в

точности, и орлиные глаза ее зорки.

- Вот ваша курица, вот ваша булка, - говорит она. - Кушайте, ничего... Дайте мне еще франк... Ужасно дорого все. Я куплю вам масла и кофе... А на ночь ничего не получите: у вас температура все-таки скачет. Да! приходила... как ее... Мария Яновна... Знаете такую? Три раза... Я ее не пустила к вам... Не для чего...

- Напрасно, - с грустью сказал Николай и вздохнул, - Ах, как жаль... Неужели три раза? Я ее очень люблю. Ведь она была сестрой...

- Замужних любить грех, - улыбнулась Дарья Кузьминишна, и лицо ее вдруг помолодело.

- Я ее любил так, просто... По-хорошему.

- Я и не сомневалась в этом, - и она мечтательно уставилась взглядом в окно.

За окном падал рыхлый редкий снег, и догорала зимняя заря.

А когда заря погасла, и в комнате был полумрак, вошел солдат. Он отряхнул шапкой валенки и, озираясь по сторонам, робко спросил:

- Который здесь будет Ребров Николай?

- Я, - и юноша взял из рук солдата письмо.

Сестры не было. Он вскрыл конверт.

"Коля, милый братъ! Обязательно сегодня. Ждемъ. Я въ четырехъ верстахъ отъ тебя. Да ты отлично знаешь. Приходи, если поправился. Письмо посылаю наугадъ. Необходимо, необходимо встретиться. Твой Сергей".

Николай вплотную подошел к солдату и тихо, почти шопотом:

- Кланяйтесь Сергею Николаевичу. Я приду.

После обеда из соседних комнат к ним набралось несколько человек выздоравливающих офицеров, поживших и молодых. Конечно, - шашки, грязные анекдоты, подтруниванье над лысым. Дешевой кого-то успел обыграть, с кем-то поругался, кричал:

- Армия! Какая к чорту у нас армия?.. И что мы за офицеры? Где наш император?

- Я не императору служил, а народу, - возражал гнилозубый, с рыжими, сидящими усами офицер. - И теперь служу народу.

- Кулаком по зубам вы народу служите.

- Врете! Нахально врете...

- Господа, господа! - тщето зывал лысый. - Это ж свинство, наконец!

- Молчи, отец игумен! - гремел басом Дешевой.

Кто-то из дальнего угла:

- Князь Тернов преставился...

- Ну?! Когда?

- Сегодня утром. Кранкен.

На мгновенье пугливая тишина и сквозь подавленные вздохи:

- Царство небесное... Еще один ад патрес...

Некоторые наскоро, как бы крадучись, перекрестились. Дешевой перекрестился усердно и с отчаянием.

- А вместе с князем - еще двое: Чернов и Сводный.

- Царство небесное, царство небесное...

Пожилой человек с запущенной сидящей бородой сжал виски ладонями и, застонав, устался в пол. Дешевой надтреснуто запел:

Наша жизнь коротка-а-а...

Все уносит с собо-о-ю-у-у...

- Не войте, ну вас!..

Дешевой боднул головой, брови его отчаянно взлетели вверх:

- Э-эх, выпить бы! - треснул он кулаком в стол.

Пробило восемь. Сестра Дарья Кузьминишна быстро развела всех по комнатам и выключила свет:

- Покойной ночи.

\* \* \*

К девяти все стало тихо. В коридоре горела лампочка. Николай Ребров надел две пары толстых шерстяных чулок, а сверху чьи-то старые галоши, разорвал сзади по шву халат, загнул его полы, на манер штанов, накиннул на плечи казенное одеяло и прокрался коридором к выходу. Пусто. Заскрипела дверь в сени, - куча, прикрытых рогожею гробов - скорей, мимо - и вот он на дворе. Возле калитки - караульный:

- Куда? Кто такой?

- Дарья Кузьминишна приказала зайти за хлебом.

- Иди, да скорей! Скоро запру.

Мороз небольшой, и лесная дорога в тишине. Юноша, надбавляя шагу, жадно вдыхал пахучий и крепкий, как брага, воздух. Закружилась голова, ноги шли вслепую, как у пьяного, спину прохватывал холод. Но вскоре, насытившись кислородом, кровь распалила мускулы, и душа юноши взыграла. Ах, как хорошо вырваться от смерти, чтоб видеть вот эту ночь, вот этот лес, дышать, и радостно плакать, и улыбаться звездам. Юноша не двигался, юноша созерцал себя и жизнь, а двигалась дорога, сначала медленно, потом быстрее, быстрее, и вот Николай Ребров у цели.

Та же комната в антресолях барского дома, тот же красноватый свет под потолком.

- Брат, Сережа!

Сергей Николаевич мгновение стоит с открытым ртом:

- Колька, мальчик! Ты?!. Вот так маскарад...

И, разрывая об'ятия, тянется пухлая рука пухлого Павла Федосеича:

- Эге! Вьюнош! Что за вид...

Покрытая инеем большая кукла срывает с себя чалму, одеяло, халат, и, греясь в одном белье, у жаркой печки, торопится рассказать про свою жизнь. Торопится и брат с Павлом Федосеичем, торопится денщик и двое незнакомых, бородатых - высокий и низенький - увязывают вещи, наскоро глотают полуостывший чай, жуют с хлебом колбасу.

- Ну, что ж, братишка Коля, можешь с нами бежать?

- Куда?

- В Париж, вьюнош, в Париж! - бабьим голосом притворно-весело Павел Федосеич, но выпуклые глаза его тревожны.

- Да ты болен иль здоров? - И Сергей Николаич трясущейся ладонью ко лбу брата.

- Когда собираетесь?

- Ровно в час... Теперь семь минут двенадцатого.

Сердце Николая Реброва сжалось, кровь ударила в виски, отхлынула:

- В Россию?

- Ну да, чрез озеро.

- И я... Брат, возьми меня! Сережа... - Ноги его подогнулись, он качнулся, упал на что-то мягкое.

И сквозь песок, вой ветра, сквозь красное шуршанье падали откуда-то сверху в самый мозг, в самую больную точку чужие, холодные слова:

- Как же быть?.. Надо остаться.

- Я не могу... Все готово. Деньги уплачены.

- Но нельзя же бросить больного...

- Я не могу...

- Дозвольте остаться мне...

И все. Потом кто-то склонялся над ним, целовал, шептал.

\* \* \*

Пред рассветом юноша открыл глаза:

- Ушли?

- Ушли, так точно, - ответил денщик Сидоров.

Из глаз юноши потекли слезы. Сидоров, с добродушным лицом белобрысый парень, зажег лучину - и в самоварную трубу.

- Ничего, приятель, ничего, - говорил он, свирепо продувая самовар, настанет и наш черед. Не век же здесь сидеть будем... Однако вас нужно в больницу... Ужо горяченького поьем... Коньячек остался... На доньшке...

И вскоре же ввалился с чемоданчиком пыхтящий Павел Федосеич.

- Что ж, ваше благородие?! - удивился Сидоров.

Павел Федосеич швырнул чемодан, сорвал с плеч полушубок и грузно сел на пустую койку.

- Вернулись? - уныло спросил и Николай Ребров.

Толстяк опустил голову и, закрыв ладонью глаза, коротко, прерывисто дышал.

- Погиб... Погиб я... Анафемски малодушен оказался... Колпак, дрянь, тьфу!.. баба! - бабьим голосом выкрикивал он, притопывая пяткой в пол. Я не один, не один... Еще трое вернулись... Страшно. - Он подошел к юноше и неуклюже опустился пред ним на колени. - Колечка, голубчик... Страшно. Этот сволочь, возница, чтоб ему, чухне, поколеть, таких ужасов нагородил - беда. Будто бы много наших померзло, и только счастливики благополучно выбираются. Толстопузый дурак я, чорт... Сидел бы я, толстопузый, во Пскове, нет! Чорт понес отечество спасать. Ну и подыхай, старый дьявол, здесь... Сидоров, дружище... Давай пить, пить, пить!

- Есть, ваше благородие, - и Сидоров достал из своего топорно сделанного сундучка завернутую в грязные подштанники бутылку с ромом и кусок сыру.

Павел Федосеич жадно выпил целый стакан и сразу расхолодел.

- С холоду, оно приятно, - улыбнулся Сидоров.

- Колька! Вьюнош! - закричал толстяк. - Знаешь, кто это? - и он похлопал Сидорова по плечу. - Это ангел, это спаситель твой. А я подлец, и кузен твой подлец, и все мы подлецы, бросили тебя, миленького нашего, больного мальчишку. А вот он не бросил... Запомни, вьюнош, русского мужика!.. На всю жизнь запомни!.. Ведь, кто нас бежать-то подбил, кто горел этой идеей-то? Он, Сидоров. А вот остался. Это не подвиг с его стороны? Подвиг!.. Христианский! Ближнего возлюбил... А ведь ты ему чужой, - толстяк обнял Сидорова и плакал у него на плече. - Не Сидоров ты, а Каратаев, знаешь у Льва Толстого Каратаев такой есть, солдат... Вот ты его внук-правнук...

- Так точно, - сказал Сидоров, простодушно улыбаясь. - На нашей деревне Каратаевы имеются... Конечно, кузнецы они... - Нос его еще больше закурносился, и узенькие глазки потонули в скуластых лоснящихся щеках.

- И ты больше не денщик Сидоров, ты знаменитый крепким русским разумом, мягким русским глупым сердцем потомственный мужик. Пей, гражданин Сидоров!.. Колька, пей!

Николая Реброва качало и потряхивало, и кто-то в дальнем углу, за самоваром, срывал и вновь набрасывал на гроба, на кучи гробов, рогожу.

Наступил рассвет. Красный фонарик под потолком погас. Павел Федосеич, мертвецки пьяный, лежал на ковре, широко раскинув пухлые ноги. Он слюняво жевал и мямлил, левый глаз его полуоткрыт и подергивался, как в параличе. За окном мутнело полосатое утро, внаклон заштрихованное медленным пунктиром догоняющих друг друга снежинок, и бессонные глаза



Сидорова точно так же мутны, медлительны и бледны, как за окном рассвет.

Но, когда окреп день, и пики елок четко зачернели на мглистом небе, Сидоров доставил больного в лазарет и чуть не на себе втащил его по высокой лестнице.

- Беглец! Несчастный беглец! - вскричал Дешевой, смачно обсасывая куриную лапку.

На губах Николая Реброва жалкая улыбка и взор утомленных, ввалившихся глаз его со щемящей тоской окинул стены недавней своей тюрьмы.

Стремительно-нервная походка - чек-скрип, чек-скрип, - и в самую больную точку, в мозг, в душу град упреков.

- Дарья Кузьминишна, - взмолил лысый, и его треугольное лицо сложилось в тысячи морщин, - умоляю, полегче с ним.

- Дарья Кузьминишна! Да вы посмотрите, каков он! - как бревно с горы, бас Дешевого.

- Они совсем больные-с, - жалеющим голосом и Сидоров. - Они несчастны-с.

\* \* \*

Юноша на этот раз, действительно, тяжело заболел. Прошло мучительных три дня. Военный доктор зауряд-врач Михеев, молодой, но облезлый человек, распустил Дарью Кузьминишну, сменил сиделку, оштрафовал караульного, но эти меры ничуть не улучшили состояния больного. Нервно-потрясенный, он метался, бредил, с его головы не снимали ледяной пузырь.

За эти три дня двухэтажный дом туго уплотнился вновь поступившими больными. Вместо пучеглазого Дешевого и лысого офицера, выбывших из лазарета, в маленькой комнатке Николая Реброва пять человек тяжело больных.

И вот, среди ночи - изразцовая печь не печь, изразцовая белая печь их белая комната, там, под Лугой. Конечно так: отец, мать, сестренка, все пьют чай. И он, Николай, пьет чай. Что ж тут удивительного? И что-то удивительного есть, но оно в глубине, в провалах, какие-то горькие туманы мешают удивиться.

- Коля, твой чай остыл, - говорит мать.

- Сейчас, мама, погоди, погоди, сейчас, - вот он расхохочется, вот вспомнит, захочет или заплачет.

И так все просто, тихо. Отец плывет, утонул в газетном листе, как в море. Хочется обнять его, приласкаться. Тихо, хорошо и на сердце тихо.

- Пожар, пожар! - Это какой-то хулиган, мерзавец промчался мимо их белой комнаты, там, под Лугой. Хулиган кричит: - Пожар, пожар! - и сразу блеск.

Николай Ребров вскочил. И все вскочили: темно.

- Огня! Свету! Мы горим!

Шум, беготня, крики, изразцовая печь. Нет изразцовой печи, все изразцовая печь, все гвалт, костер и пламя...

- Скорей! Выносите скорей! Тише, осторожней.

- Этого, этого, этого!.. Ну!!

- Бегите!.. Зовите!.. Телефон! Телефон!..

И в самую больную точку, в мозг.

- Закрывайте шубой... Закрывайте одеялом...

- Сестрица! Куда?

- На улицу, пока на улицу... Ну!..

Горел первый этаж лазарета, горел второй этаж, горели гробы, крыша, снег, горели больные, забытые в доме, горел костром мозг Николая Реброва.

- Маама...

В огненном окне замотался призрак, спрыгнул вниз, в смерть; от обуглившихся членов зашипел вспотевший снег.

Кто-то едет, скачет, еще, еще. Холодная струя воды крепко ударила в дым, в пар, в стену.

- Качай!.. Закрывай!.. Багры, багры!..

Николай Ребров из-под шубы с койки во все глаза и не может понять, что кругом, где он.

- Берегись, берегись, едрит твою налево!! Чорт...

Николай Ребров сразу понял: "Россия" - чрез уши, чрез тончайшую сеть вибраций, в самую болезную, в самую желанную улыбчивую точку этой похабной русской руганью, и вот самое светлое слово, как в метельную ночь призывный звон: Россия.

- Берегись, берегись!.. Задавит...

И огневая стена, охнув, с треском рухнула.

И дальше: скрипел под полозьями снег, или собачья свора выла в тыщу голосов. Когда откроешь глаза: лес, спина возницы; когда закроешь тьма, зыбкая, баюкающая. Лес, тьма, лес, тьма. Нет, лучше не открывать глаза. Что-то с его, Николая Реброва, телом, и тело это чужое, противное, грузное, куда-то его несут, может быть, на погост несут, сердито переговариваются. Недолгая тишина и - сразу густые, бесконечные стоны. Застонал и Николай Ребров. Он открыл глаза и по-живому осмотрелся. Жив. Народный Дом. Тот самый, сцена, солома и куча больных. Опять, опять! Почему они не замолчат? Убейте их! Вышвырните их вон, на снег, к чорту! Опять больные...

Но вся в сиянии, в звездах подходит к нему она... - Сестра Мария, спаси... - Да, я Мария дева. Спасу. - И его несут невидимые руки, и голос Марии-девы говорит:

- В артистическую, в уборную... Затопите печь.

Ах, эта печь, белая, изразцовая. Нет, нет, это их белая комната, там, под Лугой.

- Коля, твой чай остынет, - сказала мать.

И газетные листы над головой отца зашевелились. Сестра, маленькая девочка, сестренка Катя. Белая комната, их комната, там, под Лугой, белая комната тиха, так тихо, так понятно все. И что-то нужно вспомнить ему. Силится, силится, но не может вспомнить. Вспомнил:

- Мама. Умираю... Неужели ты не чувствуешь? Смерть.

- Пей чай... Пей до дна: так надо.

И вновь тьма, и вновь светло, лесу нет, не скрипит снег под полозьями, но собачья свора воеет. Псы говорят, не псы, санитары, но у них собачьи хвосты и зубастые песьи морды - псы говорят:

- Этот готов... И там шестеро... И этот... Всего семнадцать... Надо выносить...

Сквозь щелки полузакрытых глаз Николай Ребров видит: утро, в окнах свет, на полу солома, и плечо к плечу по всему полу больные или мертвые. Один, рыжеусый, рядом с ним, лежит спокойно, словно спит. Да ведь это же Карп Иваныч, торгаш из-под Белых Струг. А что ж его сын Сергей?

- Карп Иваныч! Где ваш сын? Карп Иваныч, вы живы или умерли?

- Умер, - ответил, не дрогнув Карп Иваныч, и голова у него стала лошадиная.

Тогда санитар плюнул в руки и стащил с него сапоги:

- Деньги, наверно, есть. Глянь, какое богатое кольцо.

- Кольцо мне, тебе сапоги.

- Ишь ты... А в зубы хочешь!..

И здесь, и там, везде обшаривают мертвецов: часы, сапоги, запонки, куртки, портсигары. Потом садятся в угол и при живых, нос в нос уткнув собачьи свои морды, делят добычу, как при мертвых. Живые стонут, охают. Николай Ребров кричит:

- Я еще жив! Не подходи!.. Завтра! Может быть, завтра также и меня. Завтра...

Но собачьи хвосты растут-растут, крутятся, хлещут, они захлестнут его, они задушат. Страшно...

- Милый, я здесь, - говорит не Мария-дева, а просто сестра Мария, - я с вами, я люблю вас. Мой муж, Дмитрий Панфилович, помер.

Глава XI

Либо смерть, либо Россия

В конце февраля тифозная эпидемия остановилась. Ликвидация Северо-Западной армии, затихшая-было во время эпидемии, развернулась в полной силе. Выдавали расчет с большими вычетами за продукты, за обмундировку, выдавались аттестаты о службе. Николай Ребров каким-то чудом окончательно оправился. Он напряженно занимался в канцелярии с раннего утра до глубокой ночи. Он слаб, тощ и бледен, волосы на бритой голове выростали медленно, от носа к углам рта пережитое пропахало две резких вечных борозды, веселые быстрые глаза стали задумчивы, строги, умудренны: они так недавно глядели на смерть.

Состав писарей новый. Прежние бежали или умерли. Умер и хохол Кравчук. Умирая, молился об Украине, о матери: "Ой, мати, мати", о своей жене Гарпине. Трофим Егоров, приятель Кравчука, похоронил его в лесу, версты за три от дома баронессы. На могиле поставил большой чисто струганый крест. На кресте надпись:

"Господи, прими духъ твой смирно".

"Здесь покоится унтеръ-офицеръ штабной писарь Кравчукъ Анисимъ, пострадавший за веру и отечество, который где-то изъ подъ Киеву. 17 февраля 1920 года. Аминь".

Урвав свободный час, Ребров с Трофимом Егоровым пошли на могилу. Навстречу им, или опережая их, попадались бывшие солдаты армии Юденича и русские мужики.

- Куда, братцы?

- Куда глаза глядят, - с горечью отвечали они. Их вид был злобно-покорный, как у людей, приговоренных к многолетней каторге, утомленные их глаза с ненавистью озирались по сторонам. - А не знаете ли, где тут фольварк Шпильберг?

- Были мы у Ганса, чухна такой есть, мыза у него. Ну, прижимист, чорт: за хлеб, говорит, ежели, работайте. Вас много, говорит, тут шляется. А придется, придется дарма работать: есть-пить надо... Эх, братцы...

- Мы, как челноки: угнало нас бурей с родных песков, прибило к чужому берегу, посадили нас на привязь, а вот теперь и причалы обрезали: плыви, кто куда желает... Эх, жисть!

Эти надрывные вопросы стучались в сердце юноши, как комья земли в крышку гроба.

А вот и могила: крест с венком из хвой. На прибитой жести земляком покойного, ветеринарным фельдшером, старательно написано:

"О другъ поверь мне изъ-за гроба

Твой другъ остался здесь живой

А изъ холодного сугроба

Не увидать земли родной.

Но все пройдетъ, настанетъ лето,

Певунья птичка прилетитъ,

И мне несчастному, о, где-то

Придется голову сложить...

Сочинилъ народный поетъ В. Ф. Злынка."

Юноша перекрестился, минуту постоял с опущенной головой, прочел стихи и, неожиданно для самого себя, вдруг заплакал.

- Колька, что ты? - растерялся Трофим Егоров. - О чем ты это?

Юноша с трудом оторвал ладони от лица и чрез озера слез радостно взглянул на солдата:

- О себе, Егоров, о себе, - сказал он, выдыхая слова. - Кравчук зарыт, а надо мной нет такого креста, и я живой. Ему не видать больше родины, а я увижу. Уви-и-жу! Егоров, ты любишь

Россию, родину?

- Она баба, что ли? Хы, смешно, - и лицо солдата расколосось пополам улыбкой.

- Дурак ты, - сказал Ребров.

Лицо Егорова вмиг срослось, он отвернулся и засопел. Он за последнее время состарился лет на десять: бритый, согнувшийся, обрюзгший, был похож на старуху с запавшим ртом.

- Конечно, тоскую по домашности, - обиженным голосом сказал он.

- Бежим, Егоров!

- Куда? В Рассею? Бежим, Колька, - и узенькие глаза солдата совсем сложились в щелки. -

А как здохнем, очокуримся, али замерзнем на озере?

- Пусть. Либо смерть, либо Россия!

Они возвращались домой в радостном молчании. Были сизые сумерки, воздух мягок и пахуч: зима последние доживала сроки.

Глава XII

Взбитые сливки и яйца с перцем

Генерал чувствовал себя значительно бодрее, должно быть, баронесса откормила его взбитыми сливками, костыль давно заброшен, глаза помолодели, голос стал уверенней и крепче. Генерал дождался, наконец, известий от семьи. В Париже все благополучно. Париж живет всюю. Со всех сторон с'езжаются туда финансовые тузы и сорят награбленным на войне золотом. В Париже шумно, шикарно, весело, но если б знал генерал, с какими лишениями существовала там его семья. Впроголодь, в долг, с униженьями, с нищенской экономией в каждом франке, в каждом сантиме, вплоть до того дня, когда генеральше, чрез поручительство какого-то благодетеля, удалось получить в Лионском кредите чек на 5.000 франков.

Генерал тоже получил здесь изрядный куш ликвидационных, выписал Нелли из Юрьева золотые часы, и Нелли время от времени заходит в комнату генерала, чтоб почитать ему на ночь. Вот уже неделя, как генерал перестал по ночам молиться и лить слезы пред походным своим образком. Генерал теперь спит спокойно, улыбочиво, генералу снятся сполошные соблазнительные сны.

- Ах, Нелли... Какой я видел сегодня сон... Будто бы вы и я идем к морю, в Крыму, конечно... Зной, солнышко, виноград... Сбрасываем с себя одежду и прямо в волны.

Он рассказывает дальше, смачно побрякивает, на забористых местах целует концы пальцев, хихикает. Нелли кричит:

- Врете, врете, ваше превосходительство! - и залиvisto хохочет в белый фартук.

Генерал, хихикая и подрыгивая ногами, треплет ее за пухлый раздвоенный подбородок, гладит шею и пониже и сует за корсаж теплую, согревшуюся в потертых брюках монету - царский рубль.

- Ах, представьте, баронесса, - говорит он, проглатывая два сырых с перцем яйца, - удивительный я видел сон. - И с изящными манерами, в изящных словах рассказывает ей какой-нибудь нецензурный анекдот, ловко замаскированный светскими пошлостями.

Баронесса сдержанно смеется, баронесса смеется громко, баронесса помирает от хохота, на румяных ее щеках краска еще больше густеет, она грозит усыпанным бриллиантами мизинчиком и кричит красивым контральто чуть-чуть в нос:

- Вы, генерал, неисправимы!..

- Прелестно, прелестно, - приятным баритоном подхватывает ротмистр Белявский и слегка аплодирует холеными ладонями. - Ваше превосходительство, а ну-те еще что-нибудь... Вам этот жанр необычайно удастся... Баронесса, разрешаете?

Хозяйка, прищуривая кокетливо глаз, кивает головой:

- Продолжайте, продолжайте, генерал.

Она через самовар бросает взгляд в трюмо и незаметным движением руки поправляет сбившуюся от хохота прическу.

Сыр, анчоусы, лафит, какао, анекдоты, хохот.

- А вы не думаете, ваше превосходительство, омолодиться в Париже? весьма почтительно, но сплошь в зазубринах, звучит голос ротмистра. - Я прочел статейку... Поразительные эффекты... Наш соотечественник, доктор Воронов... Еврей, а Воронов... Странно... По крайней мере, так пишет "Фигаро"... .

- Еврей?.. Ни за что!.. - утерев салфеткой губы, крикнул генерал. - А кроме того мне пришлось бы жениться на другой... Генеральша моя выходит в тираж, так сказать, в погашенье...

- Но ведь и ей можно омолодиться, - играя глазами, замечает хозяйка.

- К сожалению, баронесса... - щелкнул шпорами под столом ротмистр и чуть поклонился. - К сожалению, по некоторым физиологическим особенностям прекрасного пола, это невозможно.

- Да что вы?! - всплеснула она руками. - Ах, как жаль, - но тут же спохватилась. - Впрочем... это как будто преждевременно, - и обменялась сокровенным взглядом с ротмистром Белявским.

Ложась спать, генерал говорил горничной, приготовлявшей ему постель:

- А что, Нелли, ежели я омоложусь, и стану при генеральском чине мальчишкой-сорванцом, вы пошли бы за меня замуж?

- Я даже совсем не понимаю, что есть омолодиться, - оправляя подушки, сказала она.

- Ах, не понимаю? - ей в тон фистулой прогнусил генерал. - Приходить ко мне читать сегодня и вы поймете...

\* \* \*

Краснощекий ротмистр Белявский ад'ютантом при генерале теперь не состоял, его сменил прежний ад'ютант поручик Баранов, окончательно выздоровевший и окрепший в великолепном американском госпитале. Генерал этому рад: он любил Баранова за его прямоту, за русский дух, за высокие служебные качества. Был рад и Николай Ребров: поручик тоже нравился ему: "Джентльмен... Но очень несчастный" - подумал про него юноша.

Ротмистр же Белявский весьма уютно устроился при баронессе. Что ему армия? Плевать ему на армию: баронесса достаточно богата, обворожительна, несмотря на свои тридцать восемь лет, и дала согласие быть его женой. Чихать ему на генерала, на этот старый лапоть ликвидированной армии. Ха! Армия!.. Чихать ему и на поручика Баранова, на этого длинноухого осла, преждевременно состарившегося мальчишку, который едва не врос корнями в милое, но легкомысленное сердце баронессы. Ха-ха! Пусть-ка она полюбуется на поручика Баранова теперь, после тифу... Красавчик... Бон-виван.

На самом же деле поручик Баранов далеко не был так безобразен, как это рисовалось ротмистру Белявскому. Напротив: он высок, осанист, строен, красивая гладкобритая голова в шелковой тубитейке откинута назад, все тот же крепкий английский подбородок, все тот же строгий, чуть искривленный застывшим сарказмом рот.

Однажды, выбрав время, он вечером направился с визитом к баронессе. Топился камин, Мимишка сорвалась с бархатной подушки и с серебряным звонким лаем кинулась на гостя, баронесса отложила книгу и кокетливо сказала: - Ах!.. - Между ними произошел такой разговор:

- Ах, как неделикатно с вашей стороны, поручик, приехать неделю тому назад и не показывать глаз.

- Простите, баронесса, но... мне хотелось вас застать одну.

- Ах, вот что?.. Ну, да, его нет... Разве его присутствие вас стесняет?

- А как вы думаете, баронесса?

- Затрудняюсь ответить. Во всяком случае, поручик, я вас должна предупредить, что ротмистр Белявский - мой жених.

- Простите, баронесса. Я пришел не поздравлять вас со столь блестящей партией. Я пришел откланяться и проститься с вами навсегда.

- Навсегда? - хозяйка вздохнула, опустила голову, нервно распахнула и сложила веер. Мимишка тоже вздохнула и звякнула бубенчиком. - Поручик Баранов, вы сердитесь, вы неправы. Подойдите сюда, сядьте. Не хотите ли чаю?

- Я пришел, баронесса, откланяться.

Веер описал крылатую дугу и резко сжался. Мимишка твякнула.

- Я никак не предполагала...

- Что я останусь жив? - перебил ее офицер.

- Ах, вовсе нет!.. Оставьте ваш сарказм, поручик. Да, вы мне нравились, если хотите... Но я не дух свят, чтоб читать вашу душу. Во всяком случае отзвука в вашем сердце я не находила. Ведь так? - Поручик широкими шагами беззвучно подошел по мягкому ковру к резному столику и достал из фуражки пару белых своих перчаток. - Да, да вы мне нравились, - томно сказала хозяйка и закрыла глаза.

- Вы мне, баронесса, тоже нравились... А что касается отзвука в моем сердце, то... Впрочем, я должен заявить вам, что ваш будущий супруг подлец. Честь имею кланяться, баронесса.

Мимишка хрипло впилась поручику в удалявшиеся пятки, с баронессой же приключилась натуральная истерика.

Глава XIII

Нагаечка

Мысль о побеге не давала Николаю Реброву жить. Что б он ни делал, о чем бы ни думал, - бежать, бежать, - навязчиво и неотразимо властвовало в его душе. Он плохо ел, плохо спал. На другой день объяснения поручика с баронессой он поднялся рано, с'ел остатки простокваши и пошел в лес. Утро было хрустальное, молочно-голубое. Поблекший месяц дряхлым шаром запутался меж черных хвой. На смену ему розовел восток, загорались облака, еще немного - и молодое солнце из далеких русских недр, из-за Пейпус-озера выплывет месяцу на смену. По наезженной дороге култыхает на трех лапах несчастный пес, на шее кусок веревки. - А ведь это она... Ведь это собака Карла Иваныча. - Шарик! Шарик! - Пес мотнул изгрызастой мордой и трусливо свернул в сугроб. И вновь юноша стал перебирать в памяти весь свой недавний предсмертный бред: живы или померли - Карп Иваныч и Дмитрий Панфильтч? Но воспоминания были тусклы, путаны.

Солнце уже прорывалось через гущу леса. И юноше захотелось забраться на высокую сосну, чтоб взглянуть туда, в тот милый край, откуда вставало солнце. Николай Ребров подошел к просеке. И вот перед ним два всадника: лесник баронессы - эстонец - на лохматой кляченке, и на великолепном рысаке широкоплечий человек в серой венгерке с зеленым воротником и лацканами. Николай Ребров мельком взглянул на всадников и - дальше.

- Стой! - и рысак галопом подскакал к нему. - Почему честь не отдаешь?! Ты! Писарь!

- Извините... Я совсем не узнал вас... Я не ожидал...

Нагайка взвизгнула, и два хлестких удара сшибли с головы юноши фуражку. Не помня себя, Ребров схватил большую сосновую ветвь и наотмашь ею всадника. Конь нервно всхрапнул, подбросил задом, и ротмистр Белявский через голову в сугроб.

Юноша бросился в чащу леса, выбежал на тропинку и окольными путями домой.

Поручик Баранов еще спал, когда юноша постучался к нему. Та же противная эстонка, впуская, проскрипела:

- Подождите здесь!.. Шляются раньше свет...

И опять тот же громкий голос:

- Эй, кто? Войдите! А, Ребров?! Генерал, что ли, прислал? Что? Что? Белявский?! Как, оскорбил действием? Как, ударил? Кто, ты?! Дай-ка портсигар, дай-ка спичек! - Папироса прыгала в зубах поручика, спичка плясала в руке писаря. - Да не трясись ты, девушка! Рассказывай.

Выслушав все, поручик Баранов сказал:

- Одобряю. Солдат отдает честь мундиру, а не охотничьей венгерке какой-то. Он бы еще напялил на себя баронессин бурнус. Я переговорю с генералом. Во всяком случае - я беру тебя под свою защиту... Дай мне штаны, дай мне умыться... А вечером, после занятий, прошу ко мне... По-товарищески, запросто... Чайку попить...

Николай Ребров едва выговорил:

- Господин поручик... Я всегда... я всегда был уверен, что вы великодушный человек.

Глава XIV

Ночь у колдуна, надгробное рыдание

Когда ротмистр Белявский вошел в канцелярию, ад'ютант Баранов громко приказал:

- Ребров! Возьмешь лошадей и отвезешь этот пакет по назначению.

Николай Ребров поехал верхом верст за шесть, в дивизионную хлебопекарню. Там и встретил Трофима Егорова.

- Ну, Колька, недельки через две того... Спину чухляндии покажем. Слушай, Колька. А с нами еще один хрестьянин просится, наш мукосей. Он недалечко за озером живет, там, в Расее-то. Да уж я его... Да вот он... Эй, Лука!

Крупный бородатый крестьянин, поводя согнутыми в локтях руками, не торопясь, в раскачку, как медведь, подошел к ним:

- Здорово живешь, солдатик, - густо сказал он юноше, чуть тронув шапку.

- Что, дядя Лука, к нам в компанию ладишь? - на крестьянский лад произнес Николай Ребров. - Поди стосковался по дому-то?

- Как не стосковаться, - угрюмо ответил тот. - Не своей охотой... Солдатня да офицеришки чуть на штыки не подняли: на трех подводах ехать пришлось, все хозяйство бросил: бабу да шестерых ребят. - Мужик сглонул обиду, отвернулся и раздраженно засопел. Потом сказал: - Думай не думай, а бежать надо... Что бог даст.

Юноша улыбнулся:

- С тобой, дядя Лука, будет не страшно. Силенка, кажись, есть в тебе...

Домой Николай Ребров возвратился к вечеру, поел вареной картошки с полуржаным, полукартофельным хлебом и, час отдохнув на койке, направился к поручику Баранову.

- Честь имею доложить вашему высокоблагородию, что пакет вручен, двухнедельная ведомость проверена, в наличности имеется муки 32 п. и жмыхов 7 1/2 пуд.

Офицер сидел в рваном кресле у письменного стола, что-то записывал в памятную, с черепаховой оправой, книжку. Он в валенках и ватном халате с желтым шелковым поясом. На столе коньяк. И сам поручик порядочно выпивши.

- Вот что, Николаша, - повернулся он к юноше. - Зови меня Петром Петровичем. Очень просто: через неделю - фють! - я направо, ты налево. Ликвидация заканчивается. Что? А твое дело с этим прохвостом тоже ликвидировано. Генерал сказал Белявскому: "жаль, ротмистр, что вы подали в отставку, а то бы..." - и погрозил пальцем очень-очень выразительно.

- Почему в отставку? - спросил Ребров.

- На баронессе женится. Она богачка. На кой чорт ему служить, лоб под пули подставлять, на фронте вшей кормить? Да ты, Николаша, садись. Ну, выпьем, Николаша... За юность... Ээ,

люблю юность!.. Вся наша надежда. Да ты не морщись, пей, это коньяк... А знаешь что? Чорта с два, чтоб я позволил Белявскому жениться.

- А разве это зависит от вас? - и юноша почувствовал, как от вина стало загораться истомой его тело.

- Конечно же зависит... Ты слышал, как колдуны свадьбы портят?.. А я колдун... - он снял с бритой головы тубитейку с кисточкой, для чего-то помахал ею в воздухе и опять надел. - Да, брат, колдун, форменный: хомуты наставляю, килы сажу... Пей еще, редко ходишь...

- Я, Петр Петрович, много не могу.

- А я много и не дам. Вот по бутылочке выпьем и... - он поднял палец, - и... довольно.

- Что вы, что вы!..

Поручик строго взглянул в лицо юноши стальными, быстрыми глазами и молча подал ему письмо-секретку с вытесненным баронским гербом.

- Читай, пока не пьян. А ну, вслух. Приятно...

Николай Ребров потолстевшим языком неповоротливо прочел:

"Милостив. Гос. Поручикъ Барановъ.

Вашъ поступокъ более чемъ некорректный, онъ наглый. Если въ васъ имеется честное имя и такъ называемая "мундирная честь", которую такъ презиралъ мой покойный мужъ баронъ фон-Берлаугенъ (онъ вообще ненавиделъ все русское, особенно военный кость) - то Вы обязаны или извиниться предо мною, что Вы нагло нагаль или доказать документально Ваши гнусные слова.

Баронесса Э. фон-Берлауген.

P.S. Ротмистръ Белявский объ инциденте ничего не знает".

- Точка! - крикнул ад'ютант. - Ха-ха-ха! Безграмотно, а ловко вкручено. Понял? Нет? Ну, потом поймешь. Дай сюда! - Он разорвал письмо в лапшу, а клочок с подписью баронессы сжег, пепел стряхнул в рюмку с коньяком и выпил. - А я любил ее, дуру... Любил, любил, - гладко выбритое прочное лицо его вдруг горько заморгало. Потом порылся в письменном столе и достал валявшийся среди хлама орден Станислава с мечами. - На, повесь на гвоздик, вон на той стене. - Юноша повесил. - А почему я ее любил? - спросил ад'ютант, опять снял тубитейку, покрутил на пальце и вновь надел. - Не по любви любил, а оттого, что вот здесь было пусто, он ударил ладонью против сердца и закрыл глаза.

Николай Ребров не знал, о чем говорить. Он пьянел. Ему захотелось обнять Петра Петровича. Но он постеснялся и, вздохнув, сказал:

- Я тоже несчастный... Я, Петр Петрович, тоже люблю... Двух люблю, и не знаю, которую больше...

- В самделе? - не открывая глаз, сонно спросил поручик и вдруг ожил. - Ну, гляди, - он вытащил из-под кучи бумаг браунинг, быстро повернулся вместе с креслом и, не метаясь, два раза грянул в крест. Юноша вскочил и вскрикнул. Поручик подвел его за руку к стене, на которой качался простреленный орден. - Видал? В центр?.. А ты не веришь, что я колдун, - захохотал как-то неестественно, давясь и перхая.

Николай Ребров, покачиваясь от коньяка и перепуга, изумленно прошептал:

- Удивительно метко... Сейчас прибегут...

- Кто? Хозяева?.. Все ушли... - офицер вскинул руку вверх и как пифия. - Вот так же я, великий маг, страшный колдун, разведу их свадьбу!

- Чью? - спросил Николай. - А, знаю. Ой, не надо, Петр Петрович, не надо...

Плавали рваные струйки сизого дымка, пахло тухлым яйцом, винным чадом и в'евшейся в предметы копотью плохих сигар. Лицо ад'ютанта стало сосредоточенно и хмуρο. Он поймал тонкими искривленными губами трубку и задымил.



- Когда бежишь, Николаша? - по-трезвому спросил он и не дождавшись ответа. - А я его проучу... Я ему покажу, собаке!..

- Кого это, Петр Петрович? - взволнованно спросил Николай...

- Да этого... Как его... барбоса... Ну, этого... Белявского, - размахивая полами халата, то сгибаясь, то выпрямляясь, он быстро зашагал из угла в угол. - Я изрешечу ему череп... Я его... Ты знаешь... какой это стервец? Насиловал крестьянских девок, девчонок, баб, там, во время нашего знаменитого похода... И с какой наглостью, с какой жестокостью!.. А, попробуй, вступишь отец или мать - петля!.. Однажды, пьяный, изнасиловал шестидесятилетнюю просвирню, а потом застрелил... Это садист какой-то, исчадие ада! А посмотришь на него - ком-иль-фо... Герцог Падуанский! Чорт его заberi совсем... И расправу с тобой припомню, эту самую нагаечку. - Юноша покраснел, в его глазах загорелось сладостное чувство мести, но он смолчал. Поручик Баранов то присаживался наскоро к столу, чтоб выпить вина, то срывался и стремительно чертил крест-накрест комнату. - А взять здесь, в Эстонии... Одна повесилась, другая отравилась из-за него. Или вот... Может быть, слышали - Варвара Михайловна, девушка такая, дочь помещика с отцом приехала, смазливенькая довольно?.. - Юноша насторожился, в его груди вдруг - пустота, в которую стал вливаться холод. - Да, да, девушка - бутон. Ну, вот он ее обольстил, мол, женюсь, андел, Варя... а потом, вульгарно говоря, сделал ей брюхо и бросил. Словом, женился медведь на корове. Теперь девчонка по рукам пошла... Пропадает девчонка... Что?

Холод в груди юноши заледенил его сердце, сердце остановилось, и юноша мучительно вскричал:

- Это не она! Не она!! Как ее фамилия?!

Поручик на ходу выхватил изо рта трубку, хотел сказать - Кукушкина, но, всмотревшись в переломившуюся фигуру юноши, отдельно сказал октавой:

- А что? Твоя знакомая? Какая она? Шатенка? Высокая? Из Гдова? Нет, нет. Это беленькая овечка такая, блондинка в кудряшках. Фельдшерница, кажется. А не довольно ль, Николаша? Что? - сказал он, заметив, как рука юноши потянулась к коньяку.

- Извините, Петр Петрович... Без приглашения. Ваше здоровье, Петр Петрович! Фу-у... А я, знаете... У меня встреча была...

- Встреча? Очень хорошо...

- У костра... Я тогда захворал... И вот - Варя... Можете себе представить, тоже Варвара Михайловна... Совпадение...

- Это бывает...

- И вот я ее полюбил... Полюбил, Петр Петрович... Все думал об ней, все мечтал...

- Но, друг мой, чего ж ты плачешь-то? Николаша?

- Тяжело чего-то, Петр Петрович. Я ее встретил на праздниках в театре. А вы напугали так... Хотя ротмистр Белявский увез ее кататься. Факт, факт, Петр Петрович! Факт!.. Но вы скажите, миленький. Ведь это не она, не Кукушкина?

- Вспомнил - Морозова! - крикнул поручик и так усердно щелкнул себя в лоб, что тубитейка свалилась.

Николай бросился поднимать, запнулся, опрокинул стул, сказал:

- Виноват, - и сквозь слезы засмеялся. - Петр Петрович! Ваше высокоблагородие. Ну, давайте поцелуемся, Петр Петрович. Умрем за Россию, ей богу умрем!..

- Обязательно, Николаша, умрем. Садись, садись... Больше пить ни-ни...

- Чорт с ними - все эстонки, все Варвары Михайловны... все сестры Марии. Ах, Петр Петрович, отец родной!.. Ну, если б вы видели сестру Марию... Марья Яновна, эстонка... Люблю, и ее люблю!.. Но чисто, платонически. Ей богу. Красивая, знаете, красивая, апельсин

без корочек, ну так и брыжжет. И она меня беззаветно любит... Петр Петрович, как мне быть? Она изменила мне тоже, она выходит замуж. Как мне быть? Я женюсь на ней, Петр Петрович, я отобью!.. Она пойдет...

- Когда бежишь?

- Скоро, Петр Петрович... Компанией. Человек с десяток.

- И я с вами, - сказал серьезно офицер.

Юноша кособоко попятился на каблуках и дико закричал: - Ура, Ура!! потом сорвал с вешалки ад'ютанские рейтузы, подбросил их вверх. Ура-а!! - двинул ногой стул, опрокинул умывальник. - Урра! Ура! - и сам упал в бежавшую ручейками лужу.

Офицер усадил его в кресло, натер одеколоном виски, грудь, за ушами, накапал нашатырного спирта в стакан с водой.

- Пей, экий ты слабеха, - а сам опять проглотил залпом две рюмки коньяку.

Николай Ребров блаженно защурился, запрокинул голову на спинку кресла и весь куда-то поплыл, поплыл как в волнах. И плывет другой, знакомый, близкий, рядом, тесно, плечом к плечу. Говорит знакомо:

- Тебе легко. Мне трудней. А почему? Я - офицер. Вот, скажем, перебрались мы с тобой на тот берег. Схватили нас, тебе ничего - иди, а мне расстрел. - Юноша встряхнул головой и протер глаза. - Но я служить хочу, черти. Не убивайте, черти... Возьмите меня, используйте мои знания. Я верный рубака, и рука моя - кистень. Товарищи, каюсь, заблуждался. Товарищи! Я ваш... Посылайте меня на передовые позиции, в огонь, в пекло!..

Юноша видит сквозь туман: ад'ютант повалился перед китайской ширмой на колени и бьет себя кулаком в грудь, крича:

- Я, Петр Баранов, ломаю свою офицерскую шпагу, рву золотые погоны! Товарищи, верьте!.. Вот мое сердце, вот моя кровь, вся моя жизнь, - все отдаю вам, Республике, родине моей!.. Ведите!!

Поручик кричал надрывно, иступленно: слова его - огонь и кровь, лицо искривилось в жестоких муках. Юноше стало страшно. Он бросился подымать поручика.

- Дурак, - бранился тот, - мальчишка. Что ты, мальчишка, знаешь! Дурак, - и, пошатываясь, сам добрался до кресла.

Юноша накапал в рюмку нашатырного спирта:

- Петр Петрович, примите, будьте любезны.

Поручик плаксиво улыбнулся, выплеснул из рюмки бурду и налил вина. Потом снял с мизинца перстень, стал надевать на горячий розовый мизинец юноши.

- Что вы, Петр Петрович!

- Бери, бери, бери! Без рассуждений... Вот часы... Суй в карман... В дороге пригодятся... Что?

- Вы ж сами... Вам самим...

Он вытащил из-под кровати пыльный чемодан, опрокинул содержимое на пол:

- Садись, давай делить... По-братски, как коммунисты. На носки, новые, теплые, пригодятся... На фуфайку, на кальсоны... Нессесер не дам, надо... Мыло! На мыло... Ррезеда...

Пили, пели, целовались. Плавал дым, плавала и кружилась комната, всплывали одна за другой, как привидения, человеческие фигуры, кричали, грозили, топали:

- Ах, какой безобразий... Какой безобразий!..

Потом хозяин и гость шли в обнимку сквозь лес к могиле Кравчука. Было тихо, месячно, но лес неизвестно почему шумел и мотался, как пьяный. От этого сплошного шума юношу бросало в стороны и в голове гудело.

- Петр Петрович, мы выпивши...

- Николаша, друг, младенец! Вниманье, декламирую:

Бурцев! Ера, забияка,  
Собутыльник дорогой  
Рради ррома и арака  
Посети домишко мой!..

- Эх, Николаша, вечная память Кравчуку! Пой!.. "Заму-у-чен в тяжо-о-лой неволе, ты сла-а-вною смертью погиб..." Пой!.. Ну и дурак был покойничек... Глуп как... как хохол. Что?

Тыкаясь носами в холодное дерево, целовали могильный крест, клялись в верности новой России и, охрипшие, обессилевшие, плелись домой. Николаю Реброву было жарко, хотелось кинуться в снег. Поручик крепко держал его за руку. Когда проходили через плотину игрушечной мельницы, поручик запел:

Прощай, мой мельник дорогой,  
Я ухожу вслед за водой,  
Дале-око, далеко...

Николай Ребров остановился и взглянул в прыгавшее лицо ад'ютанта.

- Вот и вы плачете, Петр Петрович.

- Это во мне Шуберт плачет, Еган Шуберт. Знаешь, чья это песенка? - и ад'ютант наскоро провел рукавом шинели по глазам. - А я ухожу, брат... Чувствую, что так... Крышка!.. Ухожу, брат, ухожу... "Дале-о-о-ко, далеко" - с чувством пропел он, повалился в сугроб и зарыдал.

Глава XV

Конфликт улажен

Николай Ребров смутно припомнил все это на другой день утром. На мизинце дорогой перстень, в кармане золотые часы.

- Надо сейчас же отнести обратно и извиниться перед поручиком. Милый, родной Петр Петрович.

Юноше сделалось невыносимо жаль его. Какой он, правда, несчастный. И как хорошо, что он тоже решил бежать с их партией.

Соседние койки были пусты, но юноше не хотелось вставать. А черт с ней, с канцелярией. И только в первом часу он направился к поручику Баранову. Но поручик Баранов в это время был в доме баронессы. Он в парадной походной форме - перчатки, шашка через плечо - в рейтузах же притаился браунинг.

- Ах, как это кстати, поручик!.. А я только что за вами хотела послать, - испуганным голосом сказала баронесса громко, а шопотом, чтоб не слышали генерал и ротмистр Белявский: - прошу вас об'яснение отложить. Да?

- Не беспокойтесь, - так же тихо ответил он, целуя ее руку.

Генерал взял конем двух пешек - шах королю! - и к Баранову:

- А-а!.. Поручик... Очень рад, очень рад... А меня чествуют сегодня. Вот баронессушка-затейница... Радехонька, что я уезжаю.

Партнер генерала, ротмистр Белявский, поднялся из-за шахматного столика и стоял браво, каблук в каблук. Его румяное лицо с седеющими баками и с высоким лоснящимся лбом надменно улыбалось. Подавать или не подавать руки? - и подал первый. Рука поручика Баранова небрежно, как бы мимоходом, коснулась его холодных пальцев. Ротмистр нервно сел. Его глаза растерянно забегали по шахматной доске.

- Шах королю, Антон Антоныч! - повторил генерал с задором игрока и закричал. - А ну! А ну!..

Звяканье шпор четко гранило шаги поручика Баранова.

- Королю шах, а ротмистру, кажется, мат, - едва скрывая раздражение, сказал он.

- Что? Пардон, в каком смысле? - правая бровь Белявского приподнялась и опустилась.

- Ваши полосатые брючки и клетчатый смокинг очень идут к вашей фигуре, - сказал ад'ютант, - во всяком случае - мундир не будет скучать о вас, как об офицере.

- Что вы этим хотите сказать?

- Господа! Что за пикировка?.. - на ходу прошуршала хозяйка юбками. Я в момент, в момент.

- Да, да, - повел плечами генерал. - При чем тут? Ваш ход, Антон Антоныч. Прошу!

Белявский растерянно-нервным жестом поправил белейшие манжеты, как бы собираясь схватиться в рукопашную, и к поручику:

- Нет, что вы этим хотите сказать?

- Я хочу сказать, - хладнокровно пыхнул облаком дыма поручик Баранов, - что ваш предшественник, барон фон-Берлауген, был, видимо, выше вас: брючки чуть-чуть вам коротковаты.

- Пардон, генерал, - и бывший ротмистр Белявский величаво поднялся, ударил взглядом по поручику, и так же величавочеткой, нервной поступью, чуть поводя локтями, скрылся за портьерой.

Поручик Баранов зловеще улыбнулся:

- Извините, ваше превосходительство. Я решил с ним посчитаться.

- Только не в моем присутствии... Увольте, увольте... И не здесь и не сейчас... - замахал руками генерал и затряс головой как паралитик. Слушайте, поручик, поручик!

Но... за всколыхнувшейся портьерой раздался серебристый лай Мимишки. Генерал поднялся и, растирая отсиженную ногу, болезненно закультыхал по опустевшей комнате.

- Можно? - остановился поручик на пороге будуара. Баронесса сидела против венецианского, в серебре, зеркала, спиной к поручику Баранову и освежала пуховкой свое сразу осевшее лицо. Сбоку от нее нахохлившимся индюком стоял Белявский. Он левую руку заложил в карман, а правой округло жестикулировал и, захлебываясь, что-то невнятно бормотал. - Можно?

Баронесса пружинно встала и так быстро повернулась, что ниспадающие до полу шелковые ленты ее платья взвились и хлестнули воздух. Она крепко оперлась локтем о старинную с бесчисленными ящичками шифоньерку, запрокинула навстречу поручику голову: - Ну-с? - и закусила дрогнувшие губы. Глаза Белявского метнулись от нее к нему. Он вынул платок и осторожными прикосновениями, словно боясь размазать пудру, стал вытирать свой вдруг вспотевший лоб.

- Извините, баронесса, - начал поручик ровным голосом, сисясь казаться спокойным. - Вы изволили в своем любезном письме поставить мне ультиматум: или - или.

Баронесса закусила губы крепче, и глаза ее округлились страхом, как будто над ее головой взмахнул топор. Белявский бессильно опустился на ковровый пуф, в его руке дрожал золотой портсигар с баронской короной.

- Спокойствие, баронесса, не волнуйтесь, - изысканно-вежливо поклонившись, сказал поручик. - Я буду лаконичен. Мне вас жаль, баронесса. И только поэтому, пользуясь правом нашей прежней дружбы с вами, я считаю долгом заявить, что сей человек - подлец.

Баронесса враз опустила, вскинула руки, скомкала и разорвала платок.

Мимишка, злобно твякнув, бросилась на трюмо, где отразился вскочивший и бестолково замахавший руками Белявский.

- Как? Что? Вы ответите! Ответите! - выкрикивал он заячьим, трусливым визгом.

- Да, отвечу, - спокойно сказал Баранов, однако его подбородок стал тверд и прям, а рот скривился. - Если б не было здесь дамы, я немедленно ответил бы вам пощечиной. Во всяком

случае, эксротмистр, я в любой час дня и ночи к вашим услугам, - поручик сделал полупоклон. - Предупреждаю, что если до завтрашнего вечера не последует с вашей стороны вызова - я вас убью. Честь имею кланяться, баронесса.

- Интриган! Неуч! Грубиян! - прерывая его речь, топала баронесса стройной, в шелковой паутине, ножкой, и...

- Господа, господа... Что это значит?.. Ая-я-й... - наконец прикултыхал и генерал, еле волоча отсиженную ногу.

- Честь имею кланяться, ваше превосходительство, - щелкнул шпорами поручик. - Конфликт улажен и... в вашем отсутствии.

## Глава XVI

### Белое видение

К Николаю Реброву пришел Трофим Егоров, они вместе отправились отыскивать возницу-эстонца, чтоб условиться с ним о дне побега. Егоров очень обрадовался, что поручик Баранов бежит с ними. - Это такой человек! Такой человек! Этот выведет. - Они зашли, как их учили, в мелочную лавчонку, помещавшуюся возле какого-то средней руки фольварка, и наказали рыжему лавочнику, чтоб он уведомил возницу.

- Сколько народ?

- Девять.

- Надо два подвода... Ладно, скажу. Через три дня в ночь... Какая день? Суббот.

Николай Ребров расстался с Егоровым и пошел навсегда проститься с Марией Яновной. Как-то она живет? Иногда воспоминания о ней меркли, заслонялись повседневным сором и служебными заботами, но чувство благодарности за спасение его жизни и весь ее милый, пленивший юношу облик, крепко вросли в его сердце. Чем ближе подходил он к заветному дому, тем неотвязчивей впивалась в мозг давно отзвучавшая бредовая фраза: "Дмитрий Панфилович помер". Жив или помер, жив или помер?.. А вдруг... - Николай Ребров несмело потянул скобку двери.

- Коля! Милый! Почему ты так долго был прочь?! Отец, гляди кто пришел! - сорвала с груди фартук, бросилась к нему на шею растрепанная, раскрасневшаяся у плиты Мария Яновна.

И юноше вдруг стало так тепло и радостно у родной груди.

- Ого-гогого - вылез, загоготал, смеясь, старик. - Троф пилить? Давай-давай... - тоже обнял юношу, поцеловал и укорчиво закачал длинноволосой головой. - Эх, дурак, дурак... Такой девка упускал.

- А как, Дмитрий Панфилович здоров? - и юноша затаил дыханье.

Старик сердито, безнадежно махнул рукой. Мария Яновна сказала:

- Умер.

Юноша отпрянул прочь:

- Как! Неужели? Царство небесное... Когда?

- Жив, - сказала она печально. - К сожалению - жив... Но для меня, для мой сердца - он мертвый... - и вновь засмеялась звонким, чистым смехом. - Ну, как я рада. Садись, говори... Николай, милый! Ах, что же я такая не одетая!.. - и она быстро скрылась за перегородкой.

Николай заметил, как она перекрестилась на-ходу и что-то зашептала, должно быть, молитву.

- Ничего, ничего... как это... - старик, попыхивая трубкой, накинул шубу и - к выходу. - Ничего... Одеваться пошел Мария. Ничего. Ладно... А я в лавку, - подмигнул он и захлопнул за собой дверь.

Юноша смутился. Намеки старика толкали его за перегородку, где вдруг призывно захрустело полотно иль шелк. Кровь юноши на миг остановилась.

- Мария! - перегородку опажнуло полымем, дом исчез, и мимо его взора процвело черемуховым цветом, проплескалось белое видение.

- Мильй!.. Ах, какал несчастья твоя Мария...

...И Николай сладостно подумал, что он опять в бреду...

...Когда под окном послышались шага, Мария, обнимая юношу нагими полными руками, в третий раз сказала, почти крикнула:

- Неужели ты не можешь понимать, что пропадешь в России!.. Такой голод, такой кровь везде... Сразу в солдат и на война... Ну, оставайся же...

- Нет, Мария, не могу.

- Ах, оставь! - топнула она с брезгливой гримасой. - У меня и так боль... Не понимай, куда деть. Митрий развратник!.. Митрий таскается по чужим женщин... Пфе! Какой дрянь! Так только может допускать необразованни матсь... мужик.

- Как ты могла сойтись с таким?

- Ах, смешной вопрос. Как ты попал сюда? А мой брат лежит в вашей земле? Как старуха, жена Митрий, живет в бане с какой-то ваш чиновник? Как убили ваш царь Николай Александрович? Все не от нас... Судьба. - Шаги заскрипели в сенцах. Мария схватила юношу за руку. - Слушай! Тебе сколько лет?

- Двадцать, - прибавил Николай.

- Мне двадцать один, - убавила Мария. И быстро, задыхаясь. - Слушай! Мы бросаем все, бросаем Митрий, бросаем мой отец, едем в Ревель. В Ревели у меня родня, деньги... Слушай! У меня там дом... Дядя умирает и присылал мне письмо... Слушай, Коля! Мы будем без нужда, ты служить, я могу поступать в больниц. Не бегай в Россию, молю тебя, как бога Христа!.. Скоро большевики уйдут, мы поедем к твой родитель. Ну, милый, ну... Она тормозила его, заглядывала в его глаза безумными глазами. - Ну, ну!..

Юноша менялся в лице; да и нет, клубясь, свивались в его душе как змеи, и вот одна змея подохла.

- Нет, Мария! Бегу, - ударил он резко, как ножом. - Прости меня.

Из ее груди вырвался хриплый стон, она с ненавистью оттолкнула его и проплескалась в белом полотне за перегородку, крикнув:

- Откройте дверь отцу!

В комнату вошел Ян со связкой баранок. Из кармана его шубы торчало горлышко бутылки.

- Ого-го... А ну, давай гостю кофей.

Когда, застегивая последнюю пуговку черной кофты, показалась Мария, старик пристально посмотрел на дочь, посмотрел на юношу, сказал:

- Снег пошоль... Метель... Троф возить плох, - и глубоко вздохнул.

За кофе угощались наливкой, говорили о пустяках. Старик все еще поглядывал вопросительно на дочь, но лицо Марии казалось спокойным, замкнутым.

- Бегут, которые, бегут плохой, - сказал старик, разливая по рюмкам вино. - Эстис очень рабочий надо. Хороший жизнь тут. Чтоб здорофф... Дурак бежит. На Пейпус - смерть.

И еще что-то говорил старик, грустно говорила Мария, но юноша плохо слушал: все пред ним обволакивалось туманом, уплывало в сон, в мечту: вот он, покачиваясь, стремится куда-то вдаль, возница-эстонец гнусит на лошаденку, фольварки, чужое небо, роци, нерусский снег, Пейпус-озеро; кудряш-ямщик присвистнул, гикнул, гривастые кони мчат - бубенцы еле поспевают блямкать - мужичьи бороды, мужичьи избы, Баба-яга на помеле, мужиковские седые церкви, раздольные снега, скирды неумолоченных снопов и навстречу тройка. - Сын!

Мария вздохнула.

- Пей, - сказал старик.

- По вашему лицу, я знайт, о чем вы думаль, - сказала Мария, еще раз вздохнув. Юноша перевел на нее далекие глаза. Ему не хотелось пробуждаться.

## Глава XVII

"Да, да, да, домой"

Он вышел вечером. Ему нужно дойти по дороге до свертка в лес, спуститься под гору к речке: там, у мельника, жили Надежда Осиповна Проскуракова и Павел Федосеич. В сущности ему не для чего видеть их. За последние дни он весь в бреду о бегстве. Ему нет дела до остающихся здесь, и чужая судьба теперь не может его тронуть. Разве повернуть домой? Нет, прощусь. Все-таки любопытно.

Дорога миновала рощу и пошла полого вниз. Оголенный кустарник, как борода с усами, обрамлял оба берега речонки. Зачернела колченогая, присевшая на бок мельница. Навстречу из кустов - фигура в большущей шапке. Поровнялись.

- Это Цанкера мельница?

- Да, - сказала фигура. - Батюшки, да никак вы, Коля Ребров?! Смотрю, смотрю... будто бы он.

- Сережа! Неужто вы? Ну, как ваш отец, Карп Иваныч?

- Помер. Не очень давно помер. В тифу. - Бледнолицый Сережа снял шапку, перекрестился, потряс головой и завсхлипывал. - Все добро наше растащили. Все семь возов... То солдатишки, то чухна. Да и так изрядно прожились. Теперича ничего у меня нету, по дому сердце болит, по матери... Вот у мельника служу, у Цанкера. Гоняет как собаку, - он отвернулся, глядел косоуго в снег, вздыхал.

- Куда ж вы, Сережа?

- За сеном, - взмахнул он веревкой. - Вот тут недалечко. Лошадь надо выкормить, да завтра в больницу квартирантку нашу везти.

- Не Надежду ли Осиповну?

- Ее.

Когда Николай Ребров вошел в дом мельника, егошибануло густым спертым духом. У стола, весь в серой колючей щетине, сидел ежом мельник, он глядел в толстую тетрадь и щелкал на счетах. С печи неся здоровенный храп, и торчали в неуклюжих рваных валенках чьи-то ноги носами вверх. Николай поздоровался, об'яснил, зачем пришел. Мельник не сразу понял, сердито оторвался от дела, переспросил и кивнул на соседнюю комнату:

- Женчин там. Хворый. А это Павел, водка жрал. Тяни за нога, спит.

- Не сплю, не сплю... Кто пришел? - раздалось знакомо.

Валенки зашевелились, описали ленивый полукруг и, поставив пятки вверх, покарабкались с печи. Их возглавлял широкий жирный зад, едва прикрытый рваными штанами, за задом ползла спина в вязаной синей кофте, рыхлые бабьи плечи и вз'ерошенный затылок. Валенки пьяно пошарили приступку и, как два бревна, громыхнули в пол - звякнула на чайнике крышка.

- Павел Федосеич! А это я... Навестить пришел.

- Вьюнош!.. Как тебя... Миша... Ты?

- Я Николай, Павел Федосеич... Николай Ребров.

- Ну да, ну да... Ах ты, братец мой!.. - обрюзгший чиновник приятельски тряс юношу за плечи и безброво смотрел в его лицо заплывшими, блеклыми глазами. Переносица его ссажена, на ней висел отлипший пластырь. - Ах, ах, ах... Пойдем к ней... К старухе пойдем... Она больна, брат, больна, больна. Вспоминала тебя... Как же, как же... вспоминала, и он потащил юношу в другую комнату.

Хозяин вновь защелкал костяшками.

- Эй, Осиповна!.. Мать-помещица!.. Умерла, жива? Гостя привел. Ну-ка, гляди, гляди... -

тонкоголосо суетился Павел Федосеич, зажигая лампу.

Старуха подняла от подушки голову, шевельнулась, клеенчатый диван хворо заскрипел.

- Коленька! Вот не ожидала. Ах, Коленька... Приходится помирать на чужой земле.

- Другой раз не бегай из России, мать, - наставительно сказал чиновник, оправил подтяжки и семипудово сел на край дивана.

Диван крякнул, затрещал и смолк.

В комнате было грязно, по облупившимся стенам гуляли тараканы, в углах грудились набитые мукой мешки.

- Завтра в больницу, Коленька.

- В больницу, в больницу... Хворает она, как же... - поддакивал чиновник, косясь на окно, где стояли припечатанные сургучом бутылки.

- А из больницы в гроб... Ну да ничего, я не боюсь... Был бы Дмитрий Панфилыч счастлив... Ах, какой он хороший, Коленька... Ах, какой редкий человек... Денег мне прислал... - И чтоб перебить забрюзжавшего Павла Федосеича, нервно, приподнято заговорила. - Будете, Коленька, в России, кланяйтесь всем знакомым нашим... Пусть вынут меня из могилы, домой везут... Да, да, да, домой...

Павел Федосеич раздражительно отмахнулся, неуклюже, враскарячку подошел к двери и закрыл ее. Потом на ухо юноше:

- Бежишь? Шепни тихонько, чтоб не слыхала она.

- Да, - после короткого раздумья, прошептал юноша.

Чиновник, как живой воды хлебнул, сразу сорвался с места и быстрыми ногами вылетел к хозяину. Старуха затрясла головой и спросила:

- Что он? Денег, наверное, просил?

- Нет... Да... Что-то такое в этом роде, - смутился юноша. - А чем же вы, Надежда Осиповна, больны?

- Всем, - шевельнулась старуха, диван опять хворо заскрипел. - Вы спросите, что не болит у меня... Все болит. А больше всего - сердце, последние слова вылетели вместе с глубоким тяжким вздохом. - Не сердце, а душа... Душа, Коленька, болит, середка... Все потеряла, все.

Пыхтя, вкатился Павел Федосеич, поставил на грязную скатерть тарелку с огурцами, две рюмки и ловко ударил доньшком бутылки в пухлую ладонь:

- Выюнош!.. Ангел божий... Давай-ка, братишка. Грех не выпить, грех.

Пришел Сережа, тоже выпил, но хозяин Цанкер опять угнал его на мельницу спустить в плотине щиты. Старуха заохала, укуталась с головой одеялом и притихла. Николай чрез силу выпил три рюмки и застоповал: самодел не шел в горло.

- А я, брат, было спился здесь, физия опухла, ноги отекали. С тоски, брат, с тоски, с тоски... Ну, что мы теперь, а? Коля? А? Париж, Америка. Ха-ха-ха!.. Гром победы. Нет, брат, дудочки... Дураков в Европе мало, чтоб этим идиотам в долг давать без отдачи. Разик обожглись и... Ну, а про Сергея Николаича ни слуху, ни духу? Цел, наверно, цел, цел... Конечно, цел... А я теперь молодец-молодцом. Ей-богу... Хоть плясать... Ноги как у слона. Гляди, какие ножищи!.. Да я сто верст без присяду могу шагать... Коля, возьми меня... - он просительно, по-детски улыбнулся и глянул в самую душу Николая, - Коля, не бросай меня, спаси... Коля, по старой дружбе, умоляю...

Николай с раздражением охватил его большую и рыхлую, как тесто фигуру, с дряблым, поглупевшим от несчастья лицом.

- Что ж, я с удовольствием, - раздумчиво сказал он. - Нас артель. Только испугаетесь, как в тот раз.

- Кто, я?! Кинь мне в морду подлеца, наплюй мне в харю!.. Нет, дудочки, дудочки, чтобы я



здесь... Не-ет...

\* \* \*

Николай Ребров уснул. Его разбудили сдержанные всхлипывания. В лунном свете сидел потатарски на полу пред раскрытым чемоданом Павел Федосеич. Он держал в пригоршнях фотографическую карточку, то прикивал к ней дрожащими губами, то отстранялся, тогда лицо его тонуло в болезненном восторге, из широко открытых глаз по одутловатым трясущимся щекам катились слезы, и губы шептали:

- Клавдюша, Клавдюша, - выдыхал чиновник. - Не проклинай, молись обо мне, молись... Эх, ошибся я, и вся душа моя, Клавдюша, измочалилась. Живу я, Клавдюша, в великой нищете... И духом нищ. Пью, Клавдюша, пьянствую... Эх, подлец я. А теперь скоро... Жди, Клавдюша, приду скоро. А если умру, помяни меня. Да и сама-то ты жива ли, старушка милая? И себе тяжело. Ну, что даст господь. Молись за меня, Клавдюша, молись... - он крестился сам, крестил портрет, целовал его и плакал в пригоршни, размазывал по лицу слюни и слезы грязнейшим рукавом.

- Павел Федосеич, - пробудилась помещица. - Опять ты за свое! Что за малодушие...

- Нет, нет, это я так... Чшш... Разбудишь... Это я пластырь искал... Да, да, пластырь... К переносице, пластырь.

- Не плачь, все к лучшему, надейся на бога.

- Я надеюсь, Осиповна, надеюсь... Ей-богу, надеюсь... А ты спи...

Глава XVIII

Дикий хохот

На другой день Николай отправился рано. Помещица и чиновник еще спали, он так и не попрощался с ними. Шел домой не торопясь. Утро было пасмурное, угрюмое, и его настроение такое же, как это утро.

"Вот судьба, и что ожидает этих стариков?" - думал он, глядя себе в ноги.

А впереди позвякивали бубенцы, долетало храпенье коней. Ближе, отчетливей.

- Берегись, стопчу!

Николай вскинул голову и отскочил в сугроб. Мимо него, едва касаясь копытами дороги, мчалась запряженная по-русски тройка вороных. В русских, покрытых ковром, санях, обнимая прижавшуюся к его плечу баронессу и лихо подбоченясь свободной рукой, восседал бывший ротмистр Белявский.

- Сукин сын! - сделав ладони рупором, громко прокричал Николай Ребров в снежнооблачный бубенчатый след пролетевшей тройки.

Он пошел проститься с генералом - старик был для него хорош.

- А, Ребров!.. Отлично... А я, брат, мундир чищу... Сам. Я люблю черную работу. Я не белоручка... Труд - надежнейшее средство против скуки, против одиночества. Садись, Ребров... Ну, как там? А я осиротел. Баронессушка уехала и этот... Да-да... Ну да ничего. Денька через три и я... В Париж, брат Ребров, в Париж. И ад'ютант Баранов...

- Разве они едут? - удивился юноша, помогая генералу.

- А как же! Какое ж могло быть сомнение... Ну, а ты? Ты как? А? Хочешь в Париж? - генерал снял с красного ворота пушинку, дунул на нее и медленно стал елозить щеткой по сукну.

- Я, ваше превосходительство... Я здесь...

- А, молодец, молодец, Ребров... Похвально. Лучше здесь, чем к тем негодьям с поклоном. Кто они, ну ты подумай, ты все ж таки интеллигент и достаточно развит, полагаю? Ну кто? Ну кто? Приблудылки, вот кто! Эмигрантишки, за границей мотались, а теперь власть добывать приехали - навозная дрянь! На-воз-ная, - и генерал поднял щетку вверх. - Понимаешь, в чем укус? Да разве они знают Россию? И разве Россия, наш народ, примет их? И что такое, спрошу

я тебя, наш развращенный народ, наш пьяница, эгоист мужик? Ха!.. Равенство, братство. Плюет он с высокого дерева на братство! Назови мужика братом, он тебе в отцы лезет. А потом, как это... кто. Да, Бальзак: "Свобода, данная развращенному народу, это девственница, проданная развратникам". Понял глубину?

- Большевики стараются, ваше превосходительство, сделать народ счастливым, тогда он будет добродетельным, - несмело вставил юноша.

Но генерал не расслышал.

- Слушай-ка, Ребров, а хочешь чаю? Позвони Нелли... Ты знаешь ее? Ах, хороша девчонка, хороша... Слушай-ка, Ребров. Ну, а кто вкусней по-твоему: эстонки или русские? Хе-хе-хе-хе... А я чрез три-четыре дня - в Париж... И можешь быть уверен, Ребров, что скоро эта сволочь-большевики полетят к чорту. Европа никогда не допустит такой наглости, она им покажет, как аннулировать долги. Да Европе стоит только захотеть: положит их вот сюда, на ладошку - щелк и нету, слякоть одна, - генерал щелкнул по ладони и сладострастно захехекал. - Вот, что значит Европа!

Николай Ребров от чаю отказался, поблагодарил генерала и ушел.

\* \* \*

- Петр Петрович, а я к вам, - сказал он, входя к поручику Баранову. Что ж вы нам изменили?

- Что, в чем дело? - остановился офицер среди комнаты, желтые кисти его халата колыхались.

- Генерал сказал, что вы с ним едете в Париж.

- Какой вздор! У генерала разжижение мозга, или слуховая галлюцинация. Я бегу с вами... - последние слова поручик сказал тихо, почти шопотом; он стоял руки назад и опустив голову.

- Вы здоровы ли? У вас красные глаза, вы плохо спали, должно быть.

- Что? - рассеяно переспросил поручик, не подымая головы. - Нет, спал... Должно быть, спал... Спал или нет? Что? - волоча нога за ногу, он подошел к письменному столу, переставил с места на место чернильницу, подсвечник, подстаканник, сделанный из винтовочных патронов, взял спичку, переломил, бросил, взял со стола недоконченное письмо, прочел, качнул головой, сказал: - Да, да. Пиф-паф. Сегодня вечером... - он опять заходил по комнате, хмуря брови и о чем-то тяжело размышляя.

Юноша встревожился. Он следил за Петром Петровичем, сосредоточенным взглядом, силясь понять, что происходит в душе этого близкого ему человека.

- Мы бежим в субботу, Петр Петрович, в ночь.

- А?! - вскинул тот опущенную голову. - Ах, да... про это... Ладно. У нас сегодня что?

- Четверг.

- Четверг, четверг... да-да-да... четверг... Завтра пятница, послезавтра суббота... Так-так... Замечательно, - чему-то подводил он итоги, его лицо вдруг улыбнулось, он подозвал юношу к столу и ткнул указательным пальцем в мелко исписанный лист почтовой бумаги. - Вот, Николаша... завтра утром на этом самом месте будет лежать это самое письмо. Отнесешь его по адресу... Понял? По адресу. В собственные руки баронессы.

- Но баронесса, Петр Петрович, уехала с Белявским.

Поручик дрогнул и быстро попятился:

- Что-о?!

- Они сегодня уехали: я сам видел... На тройке. И сзади большой сундук.

Поручик крепко стиснул зубы: на скулах заходили желваки. Белки глаз вдруг пожелтели, взгляд запрыгал с предмета на предмет.

- Подлец, мерзавец, трус!.. Бежал, - с злорадным презрением выдыхал поручик, дергая подбородком. Он сорвал с головы тюрбиту, скомкал ее и бросил об пол: - Подлец! - Он описал

правой ногой, как циркулем, дугу, резко вскинул руки вверх, вперед и в стороны: - Так... Мерси-боку... Мерси-боку, - зашагал по комнате, все так же выбрасывая руки, лицо кривилось, дергалось, два раза грохнул кулаком в стол, в клочья изодрал письмо и крикнул: - Можешь итти, Ребров!.. Можешь итти... Да-да. Можешь итти. Прощай, Ребров... До субботы... Да-да, - с треском двинул ногой кресло, подпер щеки кулаками и закрыл глаза.

Изумленный Николай Ребров пошел на цыпочках к выходу. Возле двери обернулся и взглянул на Петра Петровича. Поручик все так же стоял с запрокинутой головой и накрепко закрытыми глазами. Николай Ребров медленно притворил за собою дверь и лишь направился по коридору, как там, за дверью загрохотал дикий, страшный хохот поручика Баранова.

- Что такое? - на месте замер Николай.

\* \* \*

Дома он нашел пакет. Там записка Павла Федосеича и письмо во Псков на имя Клавдии Тимофеевны Томилиной. В записке Павел Федосеич сообщал, что он бежать раздумал, он выждет более благоприятных обстоятельств, а пока что ему и здесь не плохо. Записка написана длинно, бестолково, с наставлениями, как жить, с покаянными излияниями заблудшей души, с размышлением о том, что есть отечество, национальная гордость и гражданский долг. Видимо, записка сочинялась с перерывами, за бутылкой водки: в начале почерк был мелкий, как бисер, потом буквы становились крупней и крупней, под конец они шли враскачку, враскарячку, большие и нескладные, то падая плашмя, то кувыряясь, как захмелевшие гуляки.

Николаю Реброву было грустно и от этого письма и от свидания с поручиком Барановым. Неужели он, такой выдержанный и холодный, влюблен в эту великосветскую, сомнительной красоты и свежести, куклу? Впрочем, Николай знает ее лишь по грязным солдатским сплетням и случайным встречам в парке.

Николай спал тревожно, болезненно. Ему снилась сестра Мария.

\* \* \*

Весь следующий день прошел в лихорадочном приготовлении к побегу. Трофим Егоров старательно помогал ему. Ну, кажется, все готово.

Вечером, когда месяц засеребрился в небе, юноша пошел к поручику Баранову.

- Ах, вы дома, Петр Петрович?

- Да. Вот сижу. Размышляю. Поди сюда. - Юноша, на цыпочках, всматриваясь в лицо офицера, подошел к маленькому столику между окнами, за которым, перед походным зеркалом, сидел поручик. На столе открытая баночка с белым порошком. - Это кокаин, - сказал поручик хриплым голосом. Его лицо изнуренное, под глазами темные тени. - Хочешь нюхнуть? Нет? Напрасно. Помогает. Да-да, брат Николаша. Случаются моментики. Конечно, морфий лучше, но где ж его в такой дыре найдешь? - Поручик поддел тупым концом пера щепоть кокаина и втянул сначала правой, потом левой ноздрей. - С хиной, чорт бы их подрал. Его надо два грана вынюхать, чтоб толк был... - Он нюхнул еще. - Ну, до свиданья. Иди... Прощай... Стой, стой, Николаша! - он обнял юношу, перекрестил и сказал: - Прощай.

- До свидания, Петр Петрович... До завтра. Я завтра днем забегу к вам. Часов в десять вечера тронемся. Будьте готовы.

- Буду, Николаша, буду. Храни тебя Христос.

Глава XIX

Побег

Суббота проходила в какой-то странной, мучительной тревоге: все скучало внутри, ноющая боль сосала душу неясным предчувствием, и Николай Ребров нигде не находил места. Не радость, а безотчетная тоска: ему казалось, что в момент отъезда судьба коварно, неожиданно, прервет их путь. Что ж делать? Куда пойти? В лес? Но все противно ему здесь, как кладбище

вставшему из гроба мертвецу. Он мысленно призывал мать, молился, взглядывая на висевший в углу казармы образок. Нет, не то, не то... Вот если б вдруг пришла сестра Мария?.. Нет, не надо... А Варя? О, конечно, он взял бы ее с собой, он вернул бы ее к настоящей жизни. Но почему же такая тоска? Он крупными шагами крестил комнату вдоль и поперек, садился, выходил на улицу, возвращался вновь.

Все были в сборе: Трофим Егоров, псковский мужик мукосей Лука, писарек Илюшин, пожилой бородатый солдат Мокрин и шестой, незнакомый Николаю, прасол из Гдова - Червячков, болезненный и хилый. Переговаривались почему-то тихо, вполголоса. Разговоры вялые, раздраженные, словно здесь собрались пленники, которых ждет не свобода, а казнь. У сидевшего на мешке прасола Червячкова совершенно убитый вид.

Спокойней всех Лука. Он лесным своим голосом рассказывал Трофиму Егорову про медвежью охоту, про то, как медведь перешиб хребет двум его зверовым собакам. Николай слушал и не слушал. Он все взглядывал через окно на дорогу, словно кого-то поджидал. Время еще раннее, золотые его часы показывали ровно 7.

- А то, милячок, вот еще как бывает, - гудел Лука, поводя бровями, ты его, зверя, хочешь скрадом взять, он тебя...

- Кто-то едет, - сказал Николай и вышел на улицу.

Меж соснами густого парка мелькала подвода.

- Боже мой! - выбросил юноша руки навстречу под'езжавшим. - Вот не ожидал!

Девчонка в большой шали и с кнутом остановила лошадь. Из саней выскочил бывший денщик Сидоров, и закричал, приподымаясь, Павел Федосеич.

- Не утерпел, брат, вьюнош, Коля... Потянуло, брат. Неотразимо повлекло. Точно перстом кто указал и повелел категорически: иди! А главное, Сидоров подбил... Ах, Сидоров, Сидоров... Случайно повстречались... Пожелал вроде няньки моей быть... - Сидоров по-детски простодушно улыбался своим курносым узкоглазым лицом и кивал головой. Павел Федосеич снял шапку, перекрестился: - Ух, слава тебе, господи, застал. А Надежду Осиповну, мать-помещицу, отвезли. Отвезли, брат, отвезли, да. Умирать поехала старушка.

Он был одет в теплые, из телячьей шкуры, сапоги, в короткий полушубок, перетянутый по большому животу кушаком, на голове лихо сидела порыжелая свалывшаяся папаха. Вообще Павел Федосеич выглядел молодцом, даже чисто бритое лицо его было напудрено, а большие рыжие с проседью усы закручены колечками.

- А мне что-то скучно, Павел Федосеич. И сам не знаю, почему...

- Уныние пагубно, - сказал чиновник.

Коротконогий, похожий на мальчишку, рыжий писарь Илюшин, пуча раскосые глаза, во все щеки раздувал казенный самовар.

Чай пили бестолково, на-ходу и обжигаясь. Безмолвие сменилось звонким повышенным говором Павла Федосеича, он был необычайно возбужден, наэлектризован, как бездождное облако, стегающее воздух градом слов. Николай с кружкой чаю стоял у печки и удивленно прислушивался к неумным речам Павла Федосеича. "Нет, он не пьян", подумал юноша. Сидоров улыбался и радостно кивал головой.

- Как бы, папаша, животик только вот... - ухмыльнулся корявым лицом Трофим Егоров.

- Что, телеса? Не беспокойся, землячок: я легче пуха, я лося перегоню, я сто верст без отдыха, через три озера таких, как Пейпус... А вы знаете, товарищи, - выпрямился он и поправил на переносице пластырь. Мы отдаем себя в иго товарищей в кавычках, будем друг дружку звать тоже товарищами... Ну, так вот, товарищи, дорогие мои, сознание, что мы возвращаемся домой к своим очагам, так сказать, к дыму отечества, придаст нашим ногам крылья... Фу-у-у, я, ребята, устал... Хорошо бы водки выпить... - По красному, отечному лицу Павла Федосеича струился

пот.

Лука пошарил в кошельке, достал бутылку. Все, даже Павел Федосеич, закричали:

- Спрячь, спрячь!.. Пригодится в дороге...

- Кушайте во славу, - прошуршал серым голосом, сидевший на мешке прасол Червячков. - У меня этого продукту запасено. Хватит.

- Налей, - сказал Луке солдат Мокрина. - С отвалом, земляки! - и выпил. Лицо у Мокрина строгое, борода густая, нос большой с горбиной. Это господские? - спросил он Николая. - В таком разе конфискую, - он снял со стены круглые часы, прикрутил бечевкой маятник с боевой пружиной, чтоб не дрыгали, и - в торбу.

- Напрасно, - сказали Николай и Павел Федосеич.

- Пошто напрасно? - недовольно ответил за Мокрина Лука. - Нешто, мало наших денег этой сволочи оставили? Не из дома тащим, а в дом, - он сорвал с гвоздя в фигурчатой оправе градусник, повертел перед глазами и швырнул, как хлам, в угол, потом выворотил из печки медные дверцы, сунул в корзину, вытряс из постельников солому, встряхнул мешки, круто скатал их, сунул в корзину. - А то мы обносились все. Робенкам стодится.

Поискал глазами, еще бы чего прихватить, - он рад был все забрать, но солдат Мокрина сказал:

- Не жадничай, чижало будет, - и ухватился за телефонную трубку:

- Вот это желательно конфисковать, - сказал он, - у меня парнишка дома... Для игры...

Но в этот миг телефон зазвонил.

- Кто у телефона? - спросил Николай Ребров. - Здравия желаю, ваше превосходительство... Когда? Сейчас?.. Ваше превосходительство, я не могу, я плохо чувствую себя... А больше никого нет... Что? Слушаюсь, слушаюсь... - Он быстро накинул шинель, сказал впопыхах: - Я живо... Экстренно генерал требует.

- Торопись... Скоро выходить, - крикнул вслед Трофим Егоров.

"Вот оно, - смутно подумал Николай, пересекая наполненный сумерками парк. - Как бы не послал куда с бумагой... Не пойду. Я ж расчет получил... Не имеет права".

А сердце бессознательно твердило: "вот оно, вот оно". Над головой с тревожным карканьем сорвалась ворона, юноша вздрогнул и наткнулся на генерала.

- А Илюшин где? Звонил, звонил...

- Его нет, ваше превосходительство.

- Тьфу! - плюнул генерал. - Возьми меня под руку. - У генерала опять отнялась нога, он грузно подпирался палкой, и юноша ощутил судорожную дрожь во всем его теле. - Чорт... Никого нет: ни доктора, никого, хрипло, прерывисто дышал генерал, хватая ртом воздух.

- Вам плохо, ваше превосходительство?

- При чем тут я! - крикнул генерал, и раздражительно: - Поручик Баранов застрелился.

- Как?! - и ноги юноши вдавились в снег.

- Идем, идем... Чорт... этот парк... Какая темень.

Николай весь трясся, веки безостановочно моргали, он всхлипнул и схватил генерала за руку:

- Ваше превосходительство, что ж это! Что же... - Все провалилось в мрак, в сон, и нет яви. А явь все-таки была, и темный сон не мог захлестнуть ее: - "торопись, скоро выходить" - и где-то в сердце, как зудя, зудила явь.

Лицо поручика Баранова спокойное, но губы чуть-чуть искривлены вопросительной улыбкой, они хотят сказать: "А ну-ка? Вот и все".

Николай Ребров сделал над собой усилие, нервы его напряглись, душа заковалась в латы.

Генерал снял фуражку с огромным, как крыша, козырьком, перекрестился и сказал:

- Напрасно, поручик, напрасно.

Поручик промолчал, поручик Баранов, все так же таинственно улыбаясь, сидел в кресле, с запрокинутой, повалившейся, на бок головой, левая рука его упруго-крепко впиалась в ручку кресла, правая - висела по-мертвому, в виске опаленное отверстие, по виску, по щеке, через ухо, на пол - влага жизни - кровь. И тибитейка валялась в красной луже. Рука успела отшвырнуть револьвер к стене, швырнула и потеряла жизнь, висит. Поручик, видимо, собрался в поход, в Париж, в Россию, на Сену, в мрак, через Пейпус-озеро: чемоданы увязаны, все прибрано, он еще с утра расчелся с хозяевами, всех наградил, как властелин.

Хозяева стояли тут же, и еще народ, шопотом переговаривались, двигались медлительно и вяло, как во сне, - должно быть, правда, сон - и огонек в уснувшей люстре загадочно дремал.

- Тебе, - взял генерал со стола письмо и подал юноше. На конверте твердо: "Николаю Реброву". Юноша дрожащей рукой письмо в карман. И сердце опять: "торопись, торопись". Но сон был глубок и цепок: латы ослабевали, нервы назойно выходили из повиновенья.

Сквозь пыхтенье, покашливанье и звяк генеральских шпор тягуче волочились фразы:

- Когда это случилось?

- Полчаса тому назад.

- При каких обстоятельствах?

- Мы ничего не знаем.

Николай Ребров глядел в полузакрытые глаза поручика Баранова, лицо поручика дрожало и все дрожало перед взором юноши.

- ...слышишь Ребров! Что же ты оглох?! Скажите, какая барышня, плачет... Беги скорей в канцелярию, принеси печать... Придется составить акт. Потом ко мне на квартиру. Пусть Нелли приготовит ванну... Понял?

Сон прервался, и юноша, отирая слезы одрябшей ладонью, заполошно бежал через парк.

- Куда ты, Николай, провалился? Мы идем.

- Егоров, ты? Поручик Баранов пулю себе в лоб...

- Ну?! Царство небесное, - торопливо произнес Егоров. - Пойдем скорей.

- Я не знаю, как быть, - остановился юноша. - Меня генерал послал... Неудобно бросить покойного...

- Тебе мертвый дороже живых, выходит? Непутевый ты... Идем.

- Но как же так? - растерянно говорил юноша, быстро шагая с Егоровым к казарме. - Я даже не попрощался с ним...

- Ладно, ладно, - покрикивал Егоров. - Авось на том свете поздоровкаетесь. Все там будем. Может, сегодняшней же ночью.

Глава XX

Звезды в ночи

И сразу в поход. Через сумрак парка, затем лесной дорогой шли молчаливой кучкой восемь человек. Верстах в трех-четыре их поджидали эстонские подводы.

- Вот, когда нам довелось с тобой вместе, Коля, - сказал бывший денщик Сидоров шагавшему рядом с ним Николаю. - Из-за чего же это поручик Баранов застрелились? Такой бесхитростный человек...

- Ах, да! - воскликнул юноша. - Ведь у меня же его предсмертное письмо... У тебя, Сидоров, спички есть?

- После прочтем. Наверно, у возницы фонарь. Они всегда берут. Да-а-а, дивное дело, - протянул Сидоров, вздохнув: - И охота людям руку на себя: богу противно, себе неприятно и людям хлопотно. А все от образованности.

- И среди крестьян случается, - заметил Николай.

- Редко же. И то от тяжелой жизни. А у господ от мечтаний от пустых. Душа, говорят, болит. Ха-ха, скажите пожалуйста, какая глупость! - Сидоров поправил шапку и повернул к юноше курносое лицо. - Как это может душа болеть? Брюхо она, что ли, или зуб? Вот брюхо, ежели обожрешься, действительно: не подходи, убью. А как опростался в добром аппетите, вот тебе и душе легко. Ха, глупости какие, душа! Сегодня, скажем, тяжело, а завтра, может, так полегчает, песни петь да плясать захочется, почему знать? И выходит - зря убил себя, глупо.

- Нет, Сидоров, ты не понимаешь, - возразил юноша. - Например, безнадежная любовь...

- Ах, брось, Коля!.. Очень даже это смешно, - и узкие темные глаза Сидорова сверкнули из-под густых ресниц. - Ежели любишь чужую бабу, неотмолимый грех - лучше отойди. Ежели втюрился в девушку, а она не может тебя любить, тоже отойди: и себя замучаешь, и ее - отойди. На свете девок без счета, любую выбирай, и все по-одинаковому пахнут. Только мы по-собачьи нюхаем, а надо умственно, по-человечьи.

Сидоров говорил внятно, убежденно. Отставшие товарищи стали выравниваться с ним, он понял, что говорит не впустую, голос его окреп.

Павел Федосеич все время пытался ввязаться в разговор, но не давала одышка.

- Уж очень просто все у тебя, Сидоров, - наконец, сказал он. - Вот ты говоришь - грех... А что такое грех?

- Всяк знает, что такое грех. Да не всякому выгодно признаться в нем, - ответил Сидоров. - Грех, это когда людям плохое сделать ладишь, людям. Или, примерно, так... Послухай-ка, ваше благородие, что я вам скажу... Да как я могу прикончить свою жизнь, раз она не мне принадлежит, не моя?

- А чья же?

- Как чья! - Сидоров жарко задыхался в щеку Павла Федосеича. - Моя жизнь, это все равно твоя жизнь, его жизнь, пятого, десятого: она всем принадлежит, а не мне, и я должен трудиться по гроб жизни. Дак как же я самовольно могу уйти с работы, вроде дезертир - трах в башку и вверх ногами... Вот, к примеру, плотники строят дом людям жить, а тут возьмут да все до единого и удавят на вожжах от разных любвей. Вот и спрошу я вас: кто же за них дом-то достраивать обязан? А сколько в их руках труда сидело, сколько бы они еще таких домов на пользу людишкам построили за всю жизнь-то за свою? Ага! То-то же и есть. Так и про всякого можно размыслить, и про поручика Баранова, царство ему небесное.

Все вздохнули. Павел Федосеич сказал:

- Нет, ты, Сидоров, настоящий сектант, свою веру ищешь...

- Меня как хочешь называй, - спокойно ответил Сидоров. - Меня мудрено обидеть. Один пытал меня из терпенья вывести, конечно, выпивши и недобрый человек. Уж как он меня ни обижал. Я терпел с кротостью. Он меня облает, я молчу. Он меня пуще, я опять молчу, и лицо у меня радостней становится. Его такая ярь разобрала, зубы стиснул, да как даст мне в морду, а сам заплакал. Чуете? Заплакал...

- Так и учат дураков, - пробасил Лука. - Этак и морды не хватит. А ты его сам...

- Нет, почему же, - перебил его Павел Федосеич и любовно заглянул в лицо Сидорова. - Оказия... Столько времени прожил с тобой, а не подозревал, что ты новоявленный пророк.

- Не мудрено, ваше благородие, батюшка: ведь я для вас денщик был.

- Ну, ладно, - захрипел чиновник и откашлялся. - А позволь тебя позондировать, пощупать... Ну, допусти, горит дом, и в дому ребенок. Ты, наверно, не бросился бы спасать его, потому, как ты можешь рисковать своей жизнью, раз она не тебе принадлежит?

Сидоров медлил отвечать. Потом встряхнул головой и как-то по-особому радостно сказал:

- Тут, ваше благородие, совсем не то. Тут другое. Тут, если нужно, сила меня бы бросила спасать, и не спросила бы меня, - вот в чем суть. Тут плоть с разумом молчит, душа работает...

Это особь статья.

- Ты, парень, как монах, - насмешливо проговорил Мокрин, надбавляя шагу. - Расстрига, что ли, ты? Тебе колькой год?

- Тридцать первый. А что?

- Сектант, брат Сидоров, сектант, - чуть прихрамывая, сказал Павел Федосеич и распустил тугой кушак. - Ну, а ежели у нас кто стал бы погибать, ты положил бы за того свою душу?

- Напередки не знаю, - раздумчиво ответил Сидоров.

Лесная просека. Послышался легкий свист, всхрапнула лошадь. Павел Федосеич схватился за плечо соседа: "ай!". Но все благополучно: садятся, крестятся - в путь добрый - едут на двух подводах. Возница-эстонец крутит лисьей мордочкой, поллюлюкивает на лошаденку.

- Густав, - говорит ему Николай Ребров. - Одолжи, пожалуйста, фонарь.

Прыгающий, мутный луч огарка осветил письмо. Николай едва разбирал мелкий почерк. Тряслись руки, трепыхалось письмо, как на осине лист. Юноша читал про себя, вскидывая брови. Сидоров внимательно, неотрывно следил за его лицом, читал лицо, как книгу.

"Ну, вот, Николаша, я и убежал. Хотя и не в одну сторону с тобой, рассуждая в вашем земном пространстве и вашем времени, но ты скоро меня догонишь, а тебя догонит тот, кто еще не родился: земля вертится, а время стоит в безмолвии: ему неоткуда и некуда итти. Итак... Впрочем, долой метафизику, это писал не я, писали частички моего взбудораженного мозга... Поручик Баранов умер единственно из-за того, что ему нечего делать на земле. Слепцу, сбившемуся с пути, трудно отыскать свою тропу. И я не хочу тыкаться лбом в стену: я горд. Я заблудился, не туда пошел, я обманулся и обманут. Ты вдумайся, Николай, кто мы? Мы на службе у власть имущих, у капитала, которому социализм так же чужд и опасен, как в свое время было опасно христианство для античного мира. И вот, иностранный капитал, самый изворотливый, самый подлый, вынул из нас сердце, отнял совесть, вложил в наши руки меч и повел бить - кого? наших же русских парней и рабочих, нашу же плоть и кровь. И выходит, что мы ландскнехты, фендрихи, бандиты, продажная сволочь, - вот кто мы. Это - не ужас?!

"Многие этого не понимают, некоторые поняли и спешат прийти с повинной головой, чтоб стать на защиту Республики. Но кто поручится, что они делают это в святом порыве, а не спасая свою шкуру? И если большевики, к кому я собирался пойти с чистым раскаянием, хоть на миг усомнились бы в моей искренности, - ты понимаешь, понимаешь, - такого поругания над своим святой-святых я бы не перенес: я горд и чуток. Стало быть, выхода мне нет, факт бытия моего утратил для меня всякий смысл, я решил смыть с моей души печать братоубийцы Каина и вот - я себя казню. Итак, милый юноша, прости, что я тебе пока не попутчик. Пишу тебе пространно, потому что я люблю тебя, а люблю потому, что ты юн, ты чист, а белейшая чистая юность - залог счастья всего человечества: если в юности светел, то будет светла и вся жизнь твоя. Пишу тебе, как старик, как отец твой (эти слова мои - может быть, единственный светлый порыв за свою мою жизнь эти слова облегчают мою душу, я это чувствую, чувствую). Отцу не пишу и матери не пишу: к чему им лишние страданья? А тебя благославляю на служению народу.

"Я теперь над жизнью и я вижу: введение в историю закончилось, хаос людских взаимоотношений сгущается в два неравных противоборствующих ядра, человечество обмокнуло перо в кровавые чернила и каракулями начинает писать первые слова новой своей истории. Пройдет положенное время, наука и людская совесть по-настоящему расправят свои крылья, каракули выравняются, встанут четкими рядами, вспыхнут огнем, и вместе с ними вспыхнет сердце человека в высокой любви, в порыве исканий недостижимого идеала во благо всех людей.

"Ну, мальчик, я ослаб, перо притупилось, просит отдыха, а она стоит, она ждет, она торопит. Но я не боюсь ее. Я верю: миром правит Истина, и я свой вечный дух смело предаю в



ее чистейшие руки. Я верю, что худо мне не будет. Прощай".

Напряженные нервы Николая Реброва содрогались, он испытывал трепет отчаянья и восторга. Какие-то световые волны, взмахивая, пронизывали его душу, хотелось радостно плакать, молиться, но глаза были сухи, лишь подергивались мускулы лица, и прыгал подбородок.

- Ню, ти-ти, я тебе-ти! - хлестнул возница лошадь и загасил фонарь.

Сидоров с выражением любопытства в лице и голосе спросил:

- Ну, что? О чем он пишет?

- Я еще не все понял, - сказал Николай, - но письмо замечательное. Совсем не от любви застрелился. Ах, какой он хороший человек! И, может быть, по-своему он прав, - и юноша пересказал, как мог, суть письма.

Сидоров с грустью произнес:

- Ты говоришь - прав?.. Глупость. Ежели дрянь какая ушла с земли туда-сюда, а хороший человек надобен миру, вот как. По барской правде, может, он прав, по мужичьей - виноват.

- Правда одна, - с чувством превосходства сказал Николай.

- Глупость! - с жаром возразил Сидоров. - У каждого человека своя правденка, маленькая, плохенькая. А только чем проще человек, тем правда его крепче. Мужичья правда крепкая.

Юноша смолчал: глаза Сидорова мечут искры, спорить бесполезно с ним.

Через густую завесу мрака замутнели огоньки.

- Тпруу! - и лошадь остановилась. - Дожидай, - прогнусил эстонец. Моя пойдет к солдату, застава здесь, пропуск берут, который... который, уезжает правильно. Нам много марка давать начальник, а то... тюрьма, - и скрылся.

Ждали недолго.

- Можно... Езжай... Но, ти-ти!

Просерел приподнятый шлагбаум, предостерегающе пролаяла собаченка: хватай их, едут! - закачался фонарь в руках что-то крикнувшего стражника - луч света мазнул по снегу, по острию штыка и подпрыгнул к голове Павла Федосеича: голова, усы, плечи трусливо упали вниз.

Дорога пошла полями. Лошади бежали шустро, задняя похрамывала и водила ушами - должно быть, слышала вой волков. Дорога вступила в лес.

- Приехали. Конца, - пропищал возница, зажег фонарь и сказал Егорову: - На, держи, пожалуйста... Давай остатки расчет. - Лука вручил ему пачку денег, он не торопясь пересчитал, вздохнул, сказал: - Ступай за мной, ступай. Буду говорить.

Все вышли на пригорок. Николай Ребров осмотрелся. Он на берегу Пейпус-озера. Темное мартовское небо все в звездах, их мерцающий свет скуп, холоден. Простор лишь чувствовался, но был неощутим для глаза: даль расплывалась в сумраке пространства, была обманной, призрачной. Однако, юноша видел все, вплоть до своей белой комнаты, там, под Лугой. Его широкооткрытые глаза горели, словно звезды. Павел же Федосеич, как ни старался всмотреться в даль, ничего не видел, кроме тьмы, кроме страха, охватившего всю его душу. Его глаза мутны, как ледяшки, зубы стучали, из-под папахи холодный пот.

Лисья мордочка понюхала воздух, рука в рукавице вытянулась в муть:

- Иди прямо, все иди, иди, иди. Далек иди, верстов десять, а то раз'езд утром увидит с берега. Как прошла десять верстов, прямо, стой, вертай лева, на Гдов. Иди скорей, не отставай. Ну, дай бог счастлив... Он засопел и, попыхивая трубкой, повернулся к лошадям.

Павла Федосеича терзала острая борьба с самим собой: душа звала вперед! - тело кричало - назад! - тело готово хлопнуться, как в могилу, в снег.

- Ну, братейники, идем, - твердо проговорил Лука. - А ну, помолимся.

Все сдернули шапки, опустили на колени. Молитва коротка, но пламенная.

И когда поднялись, когда поцеловались друг с другом по-братски, звезды как будто запылали ярче, и даль раздвинула пути.

Глава XXI

Пейпус-озеро

Настроение юноши неровное, ухаб на ухабе - взлет и срыв: на бодром общем фоне зияли, как болючие раны, провалы в мрак, и душа его, радуясь, изнывала.

Дорога вначале трудная, удробная - к берегам намело сугробы снега, путники взмокли на первой же версте. Но вот дорога плотней, ноги местами скользили по глади льда, путники облегченно вздохнули, и бородастый Мокрин заводит речь:

- А вот, братцы, ежели удариться в тонкое рассуждение, чтоб веселей шагать, расскажу вам, как я в немецком плену сидел... - его слова плывут, кряхтят как-то нудно, ненужно и нелепо.

Лука время от времени оглядывается назад: темная стена лесистого берега еще близка. Николай Ребров зажигает свечку, смотрит на часы:

- Четверть второго, братцы, - говорит он.

Идут молча. Только шаги дробят тишину и время. Слышны тревожные вздохи прасола Червячкова и сиплое дыхание Павла Федосеича, тащившегося сзади всех.

- Что, папаша, непривычно? - оборачивается Егоров. - Поди, животы взболтал?

У Мокрина в мешке недовольно взыкает пружина: часы сердятся, что их украли и куда-то тащат.

- Бечевка перетерлась, - говорит Мокрин. - Пускай играют, вроде музыки.

Идут. Лука оглянулся и - нет берега.

- Сворачивай, православные! - командует он. - Берег исчезнул.

Все повернули за Лукой влево, к Гдову.

- Ишь, звездочки чего-то блекнут, - кротким, любовным голосом сказал денщик Сидоров. - Кажись, восход свет копит, - он шел ныряющей походкой, потряхивая заплечным кошель, в его руках корзина Павла Федосеича.

Издали громыхал Лука:

- Что вы, черти, как клячи опоенные! Айда скорей!

Звезды, действительно слиняли, небо над головами стало выцветать, восток бледнел, готовился вспыхнуть у краев, но запад сгущал тона, вбирая в себя остатки ночи. Все зыбко, изменчиво, предутренние краски затеяли едва приметную для глаз игру, нежно переливаясь одна в другую. А даль попрежнему незрима: предел ее - прильнувший к берегам туман.

Часы показывали 5 утра. Ноги давали себя знать даже привычным ходакам. У Павла Федосеича дрожали колени, от левой пятки прошивала до спины стреляющая боль. Он сдерживал стоны, но глаза его приняли плачущее выражение, зрачки стали расширяться. На востоке, глубоко под землей, разгорался пожар, и зарево, начинаясь у краев, все гуще, все выше заволакивало небо.

- Солнышко! - и Лука сел на снег.

Артель побросала клажу.

Сквозь разорвавшийся туман зловеще смотрела на путников темно-сизая бахрома эстонского леса, лес оказывал так близко, как будто люди только что начали свой путь, или он, не отставая, все время шел за ними следом, спрятавшись в ночной туман.

- Что ж ты, вожак... Сбились! - продрожал голосом похожий на мальчишку писарек Илюшин.

Артель с открытыми ртами растерянно смотрела в черную бороду Луки. Тот сердитым рывком выхватил из-за пазухи кисет и, вгрызаясь в задымившую трубку, уверенно сказал:

- Идем правильно. Это глаз лукавит.

\* \* \*

Наверстывая потерянное на отдых время, артель ходко подавалась вперед.

Горизонты прояснились.

Вдали чуть намечалась русская полоса лесов, за спиною которых серело родное небо.

- Как чувствуете себя, Павел Федосеич?

- Не спрашивай, Коля, - отмахнулся тот; согнутые в коленях ноги его сдавали, в груди наигрывало хрипкое мурлыканье, он то-и-дело вскидывал голову и с резким шумом выбрасывал свистящую струю воздуха.

Далеко впереди, на гладкой, слегка вбугренной сугробами поверхности, ясно обозначилось темное и небольшое, с воробья, пятно. Двигаясь навстречу путникам, оно вскоре выросло в галку, потом в большого петуха и остановилось. Острые глаза Луки разглядели лошадь и трех закопошившихся на льду людей.

- Рыбаки, однако, - радостно сказал он.

- Слава богу! - облегченно передохнула вся артель. - Наши. Мужики.

Лука оглянулся назад, скользнул взором по эстонскому берегу, вдруг глаза его прищурились и засверлили даль:

- Погоня, - сдавленно и тихо, но как гирей по голове, ударил он по сердцам товарищей.

У Павла Федосеича упал с плеча мешок. С эстонской стороны на путников опять надвигался воробей, вот он вырос в галку, вот...

- Ребята! Беги к рыбакам! Пропали мы...

Рыбаки совсем близко, погоня тоже не дремала: игрушечная, с зайца, лошаденка, напряженная в сани, быстро росла.

- Помогай бог, братцы, - вразброд и путано закричала рыбакам артель. - Не погоня ли за нами, братцы?

- Она, - сказал широкоплечий белобородый рыбак. - А вы беглецы никак? Плохое дело. Перетрясут вас всех.

- Как перетрясут? - испугался Николай.

Первым движением его - немедленно сдать на сохранение рыбакам заветные золотые часы с кольцом - подарок поручика Баранова. Он быстро расстегнул свою новую американскую шинель, поймал цепочку, но в это время грох! - выстрел, путники переглянулись, рыбаки же хладнокровно продолжали свою работу.

Крутя хвостом, подкатила клячонка, двое быстро выскочили из саней, третий направил автоматку дулом к путникам и продолжал сторожко сидеть.

- Документы! - резко крикнул эстонец, обветренное с помороженным носом лицо его надменно мотнулось вверх. - Документы! Ну!

- Руки кверху! - вскинув револьвер, скомандовал другой, приземистый и кривоногий.

- Ой, приятели, да что вы, - заикаясь, жалобно проговорил Сидоров. Нет у нас документов, извините великодушно. Не знали мы.

- Стойте! Пошто вы забираете? - растерянно забасил Лука. - Ведь это втулки к колесьям... А это коса... В деревню несуд, к себе. У нас дома нет ничего...

Перетрясли оба мешка Луки и свалили к себе в сани все его добро. Лука клял эстонцев, лез в драку, но каждый раз кидался в сторону от дула револьвера.

- Рыбаки! Вы-то чего смотрите?! - взывал он, хрипя.

Рыбаки долбили лед. Вялый и болезненный прасол Червячков стал раз'яренной кошкой: визжал, грыз насильникам руки, лягался, из его разбитого лица текла кровь.

- Ради всего святого! Это подарок... память о друге... - тщетно умолял Николай Ребров.

Перстень и часы, блеснув золотой рыбкой, нырнули в эстонский карман, как в омут. Отряд

уехал. Николай дрожал и готов был разреветься.

- Плюнь, - подошел Сидоров. - Лишь бы живу быть.

Николаю не жаль ни перстня, ни часов, его мучило насилие, грубость, унижение человека человеком.

- Ах-ах-ах-ах, - бросили работу, враз заговорили рыбаки.

- Эх... Такую тяготу люди взяли на себя: народ на народ пошел, брат на брата, - душевно сказал старик-рыбак, он заморгал седыми, древними, в волосатых бровях, глазами и отвернулся.

- Откуда вы? - подавленно спросил Павел Федосеич.

- Мы на чухонском берегу спокон веку живем. Теперича вроде ихнего подданства. А так - православные хрестьяне.

- Не мешкайте, ребята, шагайте попроворней, - сказал кривошей рыбак и указал рукой: - На перекосях идите, во-он туда!

Беглецы пошли.

\* \* \*

Плечам легче, но сердцу и ногам трудней.

- Беда, - кто-то вздохнул, кажется все вздохнули, все вздохнуло: небо, воздух, лед.

Шли, шли, шли. И вдруг Лука на лысом месте, как с размаху в стену:

- Братцы!.. Глянь-ка!

Под вскорезженным сизобагровым льдом вмерзли в его толщу скрюченные нагие тела людей.

Лука сплюнул, задрожал:

- Ой, ты!.. Идем, идем...

И, как от заразы, отплевываясь и крестясь, всем стадом дальше. Шли молча, содрогаясь: над ними и сзади волною темный страх.

Прошагали версту-две. Отставший Павел Федосеич споткнулся, упал:

- Эй, Коля!.. Сидоров! - Картина... картина, полюбуйте, - кряхтел чиновник, стараясь подняться.

Из льда, пяткой вверх, торчала обглоданная человеческая нога. Прутьями висели оборванные сухожилия. Кругом лед сцарапан в соль когтями волков. Сидоров и Николай подняли чиновника и стали нагонять артель. Павел Федосеич задышался.

Слева, из обрезанного ветром сугроба высовывались человеческие кости, лоскутья одежд и, как спелый арбуз, лоснящийся затылок черепа.

- Да тут кладбище, - простонал чиновник.

- Братцы, что же это! - косоплече шагая, кричал артели Сидоров. - Людей-то сколько полегло.

- А ты взгляни, на чем мы стоим, - озябшим голосом проговорил бородатый Мокрин и ударил пяткой в лед.

Сквозь ледяной хрусталь виднелась вцепившаяся в край замерзшей проруби белая рука. В судорожном изломе она уходила вглубь, и желтоватым расплывчатым призраком едва намечалось утянутое под лед тело.

- Идем, - густо сказал издали Лука. - А то и мы к ним угодим.

- Едут!

- Едут!!

- Едут!!

Вдали от эстонского берега, на белой глади, опять зачернела букашка. Путники бросились вперед, роняя фразы, как гибнущий воздушный шар мешки с песком.

- Господи, пронеси... Господи, не дай загинуть.

Мартовский день склонялся к вечеру. Солнце глядело спокойно и задумчиво. Большие пространства снега, казалось, прислушивались к его лучам и жмурились от света. День был безморозный, тихий. Кой-где над польнями шел парок.

Когда отрывисто щелкнул, как пастуший кнут, выстрел, лед раздался и сжал клещами сердца и ноги беглецов. Опять с саней соскочили двое в овчинных куртках - старик и подслеповатый, с птичьим лицом, юнец. Третий с ружьем в санях.

- Нас уже обыскивали, - сказал Николай, - и отпустили на родину.

- Все отобрали от нас, - сказал Лука.

- Нет, не все, - гнилозубо проговорил седоусый, глаза его подлы, он посасывал трубку тонкими бледными губами. - Раздевайтесь. - Мгновенья полной тишины, только вздохнула лошадь. - Раздевайтесь! Ну!!

И еще - немые окаменелые мгновенья.

Но вот задвигалась косматая борода Луки, задвигались губы, а слова не шли. Сзади заревел в голос Павел Федосеич, глядя на него завыл Червячков. Лука кашлянул, мотнул головой, снял шапку, стал часто, в пояс, кланяться:

- Кормильцы, сударики... Мы не господа какие-нибудь, не баре... Трудящиеся мужики все.

Седоусый круто к саням и свистнул. Мелькая белыми, выше колен валенками, зашагал от саней с револьвером в опущенной руке поджарый, длиннолицый эстонец.

- А, чорт, куррат!.. - прошипел он. - Моя, что ли, раздевать вас будет?.. Роду-няру... Сволочь... Ну!

Беглецы враз на колени, заплакали:

- Это смерть нам, смерть...

Павел Федосеич с Червячковым переползали от эстонца к эстонцу; скуля и взхлеб рыдая, они целовали эстонцам сапоги, их посиневшие руки крючились от холода.

- Сажайте нас в тюрьму! Не убивайте, пощадите, - последним своим визгом покрывали они весь ужас голосов.

Грабители тоже кричали: - Смирна! Смирна! - ругались, пинали сапогами, пятились к саням.

Корявое лицо Трофима Егорова покрылось испариной. Он и бородатый Мокрин тряслись от гнева. Лука сжимал кулаки. Мокрин лихорадочным взором искал, чем бы оглаушить палачей. Он передернул широкими плечами, ухнул и с сиплым криком:

- Братцы! Это не раз'езд!.. Это душегубы!.. А ну!!.. Даешь пропуск!! ринулся на седоусого.

Но в белых сапогах, эстонец, вскинул руку на прицел и выстрелил. Мокрин торнул носом в ноги старику и захрипел.

Старик сделал шаг, назад, скосил подлые глаза и хладнокровно:

- Не задерживайт... Раздевайсь. А то всем в лоб пуля. Не здохнешь, как собак, уйдешь вшивый Россия свой. Вот бери одежду... - он запустил руки, как вилы, в сани и выбросил на снег кучу грязнейших лохмотьев.

Маскарад был кончен, грабители уехали. Кучка неузнаваемых бродяг, переодетых в ледяное рубище и рвань, наскоро простилась с оголенным трупом Мокрина и еле потащила свои ноги. Сидоров положил на волосатую грудь убитого свой нательный образок, пошептал, покивал над трупом головой и догоняет беглецов. На скуластом лице его мрак, но в заплаканных глазах благодать и радость.

Николай закутан в рваный летний зипунишко, на ногах хлябают дырявые башмаки. Он глядит на ходу под ноги, в порозовевший предзакатный снег. На снегу плывет труп Мокрина: лицо мертвеца в злобе, зрачки ушли под лоб, глаза мигают льдом. Николай отводит взор в сторону, труп быстро перемещается туда же. Николай говорит Сидорову:

- Никак не могу отделаться... Эта смерть страшной смерти поручика Баранова. А я Мокрина до от'езда никогда не видал. Почему это? Сидоров? А?

Но с ним не Сидоров, с ним обмотанная тряпьем бабища, ее голова повязана, как шалью, грязной рванью.

- Это я, Коля... - раздаётся бабий, хныкающий голос Павла Федосеича.

Жирные щеки его одрябли, живот подтянулся: за этот краткий путь старика перевернуло, как после изнурительной болезни.

- Папаху отобра-а-ли, куртку отобра-а-ли, сапоги отобра-а-ли... Едва ползу. - Его правая нога в огромной валеной калоше, из дыры на пятке тащится тряпица, левая - завернута в войлок и скручена лыком. - Все ото-бра-а-ли, - стонет беспомощный старик. - Почему же не отобрали жизнь?

Николай пустился догонять артель. Павел Федосеич отстал, отстал и Червячков.

Солнце село в тучи, даль померкла. Русский берег заволакивался дымкой. Подуло холодом. Наступал морозный вечер. Падали унылые фразы с уст:

- Замерзнем. - До Руси далеко еще. - А есть нечего. - Хоть бы корку...

- Только, только середку перевалили, - тянет писарек Илюшин. - Не дойти.

- Молчи!! - замахнулся Лука. - В морду дам!.. Дьявол!..

Шли вперед медленно и тяжело, в злобе. И двигалось время с запада на восток. Запад в туче, восток серел, небо стало плоским, и Пейпус-озеро потеряло берега. На землю спускался сон, сон баюкал головы, смыкал путникам глаза, манил забыться, уйти с земли. И шагалось куда-то вдаль, в пространство, кто-то шагал и кто-то вел.

\* \* \*

- Устал, не могу, - на ходу открыл спящие глаза Николай и посунулся носом.

- И я устал... - И я... - Давайте - привал... - Все повалились на снег. Лука последний.

- А где же Червячков со стариком?

Этот вопрос успел расслышать быстро задремавший Николай, и еще - неясно, путано:

- Эй! Па-л... сеич...

И сразу в тепле, в мягких глухих туманах, удобно, тихо, и кольшется-плывет земля. "Читайте, что же вы..." - говорит поручик Баранов, он шагает по комнате, и штрипка волочится за ним белой вьюжной змейкой. Николай Ребров послушно достает письмо поручика, читает: "Милая мама, я иду... Иду, иду..." - Нет, не так, - говорит поручик, глаза его закрыты, по виску через ухо, чрез беспросветную тьму тонкими ручейками на пол - кровь. - Надо читать: "Она идет, она идет... идет".

И видит Николай: движется на него седая туча, в туче смерть, настоящая смерть, живая, с железной косой в руках, седые одежды ее плещут и вьются, как метель, и метельная вьюга опажнула, закрутила юношу - что же это? Смерть? А живая смерть, взмахнув звенящей сталью над головой юноши, вкрадчиво поручика Баранова: "Можно?" - "Нельзя!" - крикнул поручик.

- Нельзя, парень, вставай! - и Лука поднял юношу со снега. - Не спи. Отдыхай в сидячем виде.

Николай снова закрыл глаза, голова его повисла.

А там, далеко, позади, развалясь на льду, как на теплой печке, мертвецки спал Павел Федосеич. Возле него, упав головой ему на грудь, сидел, скорчившись, Червячков и лихорадочно стучал зубами. К ним подошел на помощь Сидоров и писарек Илюшин.

- Пойдем, Павел Федосеич, ваше благородие, - растолкали старика. Пойдем, голубчик.

- А... разве... я не умер? - удивленно произнес старик. - Я... я не могу, Сидоров... Я... я умираю, Сидоров... Нне мммогу-у-у...

- Шагайте, шагайте... Сначала правой... Ну-ну!.. Левой. Вот так.

Старика вели под руки. Он икал, хныкал, жевал язык и сплевывал. Червячков впился в плечо Сидорова и, прихрамывая, кой-как култыхал.

- Эй, братцы, обождите! - кричал Сидоров, двинувшейся в путь артели.

Лука остановился, все остановились. Покачиваясь от изнеможения, Лука сказал:

- Дело такое, ребята... Надо итти... Ежели тех двоих на себе тащить, все загинем до единого. Я сам едва живой... А им так и так погибать. Он стоял согнувшись, лицо его побелело, нос заострился, отливала лунной синью борода. - Как ваше мнение? Николай, как?

Все молчали. Трофим Егоров вяло сказал:

- Пойдемте, ну их... Один чиновник... другой торгаш... Ветер, ночь.

Ночь, действительно, надвинулась, ночь дыхла мраком, испарусила небеса, заблестела звездами. А сзади, под мраком, под звездным небом, из ослабевших рук Сидорова и Илюшина валились наземь двое:

- Нет, нет, не ммогу-у-у... - стонал старик... - Берите дом во Пскове, все отдам... Несите меня, братцы... Не ммогу... - застывшие ноги старика не разгибались, кисти рук белы, как снег, он свернулся в большой калач, и слова его были мерзлые, едва слышные.

Не мог встать на ноги и Червячков.

Лука твердо подошел к ним, рванул сначала Сидорова, потом Илюшина за шиворот:

- Идем, дьявол вас заешь!

Сидоров упал, поднялся, закричал:

- Надо артелью тащить!.. Чего дерешься?!

Лука опять встряхнул его за шиворот, ударил по затылку:

- Подыхать тут с вами. Иди, чорт святой!.. Ну!

Бросили, выровнялись с артелью и вперед. А сзади вой, плач, крики.

- Не оглядывайся! - резко приказал Лука.

Артель надбавила шагу. Вой и крики усилились. Николай зажал ладонью уши.

- Не оглядывайся, - сказал Лука надорванно и засопел.

- Бра-атцы... Бра-а-а-тцы... - доносилось с ветром.

Страшный визг, нечеловеческий и острый, резанул морозом по спинам беглецов.

- Не оглядывайся, - скрипучим, пропащим голосом едва выдавил Лука, из вытаращенных глаз его градом покатались слезы.

Сидоров остановился:

- Прощайте, други... Идите помаленечку... А я... - он поклонился в пояс и косоплече побежал назад.

Никто не обернулся, шли, как шли: жизнь влекла вперед, в гору, в родную даль. Лука сморкался.

\* \* \*

Но смерть стала наступать и их. Первый упал Трофим Егоров.

- Сил нет... Заме...замерзаю...

- Ты! Убью, чорт! - вспылит Лука.

Повалился и Николай.

- Измаялись мы, Лука, - проговорил Егоров. - Поспать бы...

- Огня бы... - Поесть бы... - Хо-оло-дно...

- Что ж, ребята, неужто смерть? - уныло сказал Лука и замигал. - Неужто возле своего берега пропадать...

- Где он, берег?! - подавился слезами Илюшин. - Поводырь, чорт... Погубитель. Слепых тебе водить. Ведь околеваем мы...

Широколобая луна жгла холодом. Мороз усиливался. Егоров, свернувшись в клубок, как

собаченка, лежал на бриллиантовом снегу, скулил. Николай с Илюшиным не попадали зуб на зуб, корчились от стужи. Лука подпрыгивал, ругался, клял судьбу. Илюшин вскочил, перевернулся, опять упал и заплакал, что-то бормоча. Николай Ребров поймал ухом, что похожий на мальчишку писарек прощается с белым светом, с матерью, и тоже заплакал, но тихо, скрытно, горько:

- Несчастный, несчастный, несчастный, - монотонно твердил он, как в бреду.

На беглецов катилась смерть, кругом мертво и тихо, бескrestный погост Пейпус-озера выжидающе белел.

Илюшин высморкался, протер глаза и вдруг радостно, как ястреб:

- Огни, огни!

- Где? - завертел головой Лука. - И впрямь - деревня, - сразу погустевшим голосом проговорил он. - Молись.

Илюшин визжал, прыгал козлом от одного к другому.

- Боже правый, господи... - бухал Лука головой в снег. - Ох, мати богородица... Детушки, жана...

Тормошили Луку, целовали в лохматые волосы, в провалившиеся мокрые щеки.

- Лука Арефьич!.. Батюшка... Отец родной... Пойдем.

Словно медвежьей крови влили в жилы, словно отхвостали ноги в жаркой бане веником, четверо путников зашагали на огни. И только тут, в этот судный миг, каждый понял до конца, каждый оценил по-своему, что такое жизнь, что такое гибель, и из гибели в радость, из смерти в жизнь устремился каждый.

А впереди, и совсем недалеко, темной полосой берег. Два-три огонька, как едва различимые искорки все шире, все ярче зажигают душу путников, и в их остуженной крови вспыхивает и трепещет великая радость бытия. Только теперь Николай вспомнил вслух:

- А как же те? Трое-то?

Но всяк думал только о себе, всяк шел своей тропой и - уползай прочь, в гибель, в смерть, на тропе лежащий.

- Огонек погас... И другой... Лука! Огни погасли...

- Ничего. Ложатся спать.

Шли молча, и каждый уже был в России, дома, в кругу своей семьи. Луна миновала облако и лицом к лицу столкнула беглецов и берег. И вдруг все четверо в один страшный крик:

- Вода!!

Между ними и берегом, на расстоянии сильно брошенного камня, заблестела широкой рекою гладь воды. Потрясенные, в диком ошеломлении смотрелись путники в холодное отражение луны.

- Озеро вскрылось у берегов, - охнул Лука, лицо его вытянулось, и шапка полезла на затылок. - В жизнь не попасть... Давайте всем миром гайкать... Авось лодку подадут.

- А вдруг красный раз'езд? Перестреляют.

Николай Ребров поднял жердь и осторожно зашагал в опорках по ледяной воде, ощупывая жердью дно:

- Это наледь! Иди, товарищи, - закричал он. - Это с берега снег согнало, а лед осел...

Вода забурлила, зафыркала от четырех пар ног, как от винта парохода, луна расплескалась на тысячи головастиков и змеек, пустившихся в серебряный скользкий пляс. Вода не глубока, едва хватала до колен, промерзшие в лед ноги удивились обнявшему их мокрому теплу.

Берег гол и темен, над ним чернел сонный лохматый лес, мертвящий свет луны трогал голубым взрыхленные сугробы на опушке. И так стремилась душа в этот родимый лес, к русским медведям, к русским лешим, к убогим избам с тараканами и вонью, к румяным



молодицам, к девкам, к покрытым седым мохом мудрокаменным древним старикам. Лететь бы, лететь с граем, с криком, как желторотая стая воронят!

\* \* \*

По подстывшей за ночь вязкой глине беглецы покарабкались наверх. Все закрестились, вздохнули полной грудью. Лука, на радостях, тотчас же после молитвы матюгнулся, погрозив кулаком за озеро:

- Гори эта армия огнем! Гори!!

Николай, всмотревшись в ночь, крикнул воспаленным голосом:

- Товарищи!.. А ведь на озере огонь. Это наши!

- Верно, - подтвердил Егоров, - я видал, хворост валялся.

Возбуждение сменилось небывалой дрожью, из уст путников вместо слов, вылетела непонятная гугня:

- О-го-ньку... Деде...де-ревню...

Ноющий зубастый холод вгрызался в организм и гулял в нем, как в коридоре, ноги то холодели, то вспыхивали, будто раскаленные иголки жалили их, как пчелы. Люди зашевелились, заметались. Потрескивая сучьями, шарились по лесу, искали деревню, деревня провалилась. Кто-то упал во тьме, кто-то кричал:

- Эй!.. Кто живой?..

И вот все четверо сбились в пустом брошенном сарае. Должно быть, развели костер, - не здесь, не там, неизвестно где, - должно быть, сушили рубище, прогревали тело, палили огнем, жгли сердце, кости, кровь, оттаивали замерзшую душу и глаза, но глаза смежались, душа смыкала крылья, а лунные лучи, в обнимку с лучами лесного мрака, плели крепкий, трудный сон.

Глава XXII

Родные русские туманы

Их разбудил холод. Рассветало. Смотрели друг на друга с острым удивлением. Они ли это, недавно бодрые, сильные, хорошо одетые, с поклажей за плечами?

- Барахла не приволокли с собой, зато, братцы, жизнь узнали, - сказал Лука Арефьич, борода его с правой стороны опалена, лицо, как и у прочих, в саже, в тепле. - Как-никак, а половина наших людей погибла, - опять сказал Лука и засопел.

В полуистлевшем рубище, в грязи, в прорехах, не люди - огородные пугалы - пошли искать деревню. А до деревни всего сажень пятьдесят. Леший ее, что ли, накрыл вчера шапкой-невидимкой?

Николай Ребров и Егоров завернули на огонек в бедную лачугу, Лука с Илюшиным - в избу побогаче.

- Ой, кормильцы, да откуда вы? - испугался старик, низенький и лохматый, в синих домотканых портках и рубахе. - По миру, что ли, собираете? Бог подаст, нет у нас ничего!.. Ступайте со Христом.

Николай жадно ловил русскую мужицкую речь. И так мил, так дорог стал ему этот седой с прозеленью дед. Он шагнул к нему и обнял:

- Дедушка, родной!.. Мы из Эстонии...

- О-о-о, - изумился дед, от него пахло луком и овчиной. - Садись, ребята, коли так... Эй, бабка!..

У печки крепкая старуха в сарафане вытаскивала из пламени рогачом чугуны.

- Ой, родименькие мои, ой, детушки, - она подошла к беглецам, подшибилась рукой и завсхлипывала. - Ой, не видали ли там моего Кузеньку, Юденич-генерал забрал его?

- Кузьма Рыбников, - пояснил старик. - Да где, нешто встретишь в вихоре в таком... Всех

перемело-перекрутило... Хвиль-метель...

- А другого-то сынка нашего белые повесили... Не хотелось Юденичу служить. Удозорили, выволокли, да на березу... Ой, ой, - старуха закрестилась.

- Алексеем звать, - опять пояснил старик. - Алексей Рыбников. Похоронен здесь, на погосте...

- А третий-то в Красной армии... Письма пишет... Поцелуем письмо да поплачем...

- Звать Иван... С белыми не пожелал, дай бог. Не пожелал... Да... Слышь, старуха!.. Ребята-то устали, поди есть хотят... Дай-ка молочка... Хлеба-то нету...

- Нету, нету у нас хлеба-то... Давно нету... Ох, горе, горе... Ужо я молочка, да картошечки...

Николай пялил слипавшиеся глаза и поклевывал. В избе жарко, как в бане: разморило, бросало в сон.

- Иди, кормилец, посбирай, - проговорил старик Егорову. - Авось подадут хлебца-то. Тут есть, которые справные хрестьяне... Ничего, тебе подадут... И мы с старухой пожуем... Иди, милый... - Егоров ушел. Дед скрипел: - А коровка у нас есть, это верно. Отелилась... Да, да. Бычишку принесла, а надо бы телку. Это верно... Что ты будешь делать? А коня Юденич слопал... Нету лошадушки, безлошадные мы... Это верно. В камитетской бедноте... Плохая жизнь по Руси пошла, плохая. Наказал господь... Да. Все сулят лучше. И Ванька из Красной армии пишет: жди, отец, улучшенья... А плохо же, плохо кругом. Не глядели бы глазыньки мои...

Николай, как в люльке, и кто-то сказку говорит. Он открывает глаза, любопытно окидывает деда взглядом, шепчет:

- наших трое на озере остались. Не было силы итти...

- Старуха, слышь?! - скрипит дед. - Еще трое... - и крестится. - Со святыми упокой... Как звать-то? С святыми упокой рабов божьих...

А нянькина сказка журчит опять.

- Ой, ой, - говорит старуха. - Это их душеньки, стало, прилетали сей ночи... Три раз в окошко по стеклышку, как птичка крылом, трепыхала... Встанем, поглядим со стариком: нет никого, темень, хвиль-метель.

- Дедушка, сделай милость, поезжай... Живы они, - еле ворочал языком Николай.

- Где живы!.. Мороз такой... А ладно, ужо к крестнику схожу... Крестник у меня, Панфил Кольцов... А я-то Никита Рыбников буду... да, да. Это верно. Ужо, схожу. Он с'ездит... Недалеко, говоришь? Ох и загнуло вашего брата, беглецов... Тыщи, тыщи. Не приведи, господь.

Полусонный Николай Ребров жадно ел и пил: хлеб, молоко, соленые прокисшие огурцы, картошку. Чем больше ел, тем сильнее наваливался сон.

- Кусай, чего же ты! - кажется, Егоров, его голос, его смех.

И Лука сидит, и дед.

Николай очнулся, откусил засунутый в рот кусок, пожевал и - куда-то все исчезло.

\* \* \*

Все четверо проснулись, как один. Лежали на полу, на сене. Толстолобый кот, мурлыкая, переходил от одного к другому и с родственным гостеприимством терся о щеки беглецов. Николай поднялся. Утро. Старуха топит печь. Старик истово молится перед образом, шепча молитву и почесывая из'еденный клопами зад.

- Вот так штука. Никак целые сутки спали, - потянулся Николай.

- Сутки? - заулыбался дед. - Нет прибавь, - перекрестился он и поклонился в землю. - Третьего дня легли...

- Ловко, - сказал Лука. - Выходит, двое суток?

Илюшин засмеялся и дернул кота за хвост.

- Так и есть - двое суток. А Панфил гонял верхом на озеро... крестник-то мой, Панфил Кольцов, это верно... Того же утра гонял... Ку-да! Нешто същешь? Туман... Такой ли туманище, как молоко. Третьи сутки туман. Что ты будешь делать.

Сердце Николая заскребли когтями. Он встал, попросил у деда зипун и вышел на берег. Густой туман стоял в деревне и в лесу. И все Пейпус-озеро закутано туманом. Николай прислонился спиной к сосне и тяжело задышал. Пред ним поплыла вся жизнь в Эстонии: генерал, Варя, сестра Мария, поручик Баранов. Какая мучительная комедия, какая пустота! Не сон ли это? Может быть, сон и Пейпус-озеро, и туман, и дед, - все сон? Нет. Он опять в родных лесах, вот он спрашивает свое сердце, пытается прочесть грядущую свою судьбу, - ведь круг юных дней его завершен, концы сомкнулись, и от этой грани, из этих береговых туманов он должен твердо вступить на крестный путь, может быть, похожий на стезю к Голгофе. Горб опыта и мертвящая пустота минувших дней лишь открыла ему глаза на прошлое, но чья рука поведет его на простор новой жизни, новых человеческих взаимоотношений? А вдруг и там такой же седой туман, как здесь?

И, как отбившийся от стаи лебедь, он вдруг почувствовал в тумане своего сердца призывный клич. Дрожащими руками он выхватил из записной, уцелевшей книжки письмо поручика Баранова и жадно, залпом перечел его. Да, да... Вот по какой стезе он должен направить свой полет.

Николай медленно сложил письмо, уставился долгим взглядом в снег. Большие мысли не всплывали в утомленном взбаламученном мозгу, сердце юноши в тумане, и голову обносил туман. Сердце ныло о другом. И прежде всего...

- Сидоров, прощай!!

"Про-а-а-а-й!" - откликнулся туман и лес.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)